ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

В. О. Ключевский

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Исторические портреты» известного русского историка В.О. Ключевского рисуют серию политических деятелей Российского государства XIV–XVIII вв. Воссоздание типов людей прошлого – будь то цари, общественные деятели, святые или простые люди – было для Ключевского одним из способов понять исторический процесс в целом. Историк описывает личность своих героев, как в частной, так и в общественной жизни, при этом важнейшую роль играет нравственный облик человека. Многие исторические фигуры предстают перед читателем в неожиданном ракурсе (Иван Грозный, царь Алексей Михайлович, Петр I, Екатерина II), их характеристики оригинальны и часто отличаются от общепринятых. Личное отношение к каждому из них, живая манера изображения и детальное описание окружавшей их среды делают этот цикл увлекательнейшим чтением и в наше время.

- Василий Осипович Ключевский
  - I
  - II
  - III

Василий Осипович Ключевский Императрица Екатерина II (1729–1796)

I

Для Екатерины II наступила историческая давность. Это налагает некоторые особые обязательства на мысль, обращающуюся к обсуждению ее деятельности, устанавливает известное отношение к предмету, подсказывает точку зрения.

В ее деятельности были промахи, даже крупные ошибки, в ее жизни остаются яркие пятна. Но целое столетие легло между нами и ею. Трудно быть злопамятным на таком расстоянии, и

именно при мысли о наступлении второго столетия со дня смерти Екатерины II в памяти ярче выступает то, за что ее следует помнить, чем то, чего не хотелось бы вспоминать.

Царствование Екатерины II – это целая эпоха нашей истории, а исторические эпохи обыкновенно не замыкаются в пределы людского века, не кончаются с жизнью своих творцов. И время Екатерины II пережило ее самое, по крайней мере после четырехлетнего перерыва было официально воскрешено манифестом второго ее преемника, объявившего, что он будет царствовать по законам и по сердцу своей бабки. Екатерину и по смерти ее восхваляли или порицали, как восхваляют или порицают живого человека, стараясь поддержать или изменить его деятельность. И Екатерины II не миновал столь обычный и печальный вид бессмертия – тревожить и ссорить людей и по смерти. Ее имя служило мишенью для полемического прицела в противников или приверженцев ее политического направления. Живые интересы и мнения боролись на ее могиле. Уронить ее бюст или удержать на пьедестале значило тогда дать то или другое направление жизни.

Столетняя давность, отделившая нас от Екатерины II, покрывает все эти споры и вражды. Наши текущие интересы не имеют прямой связи с екатерининским временем. Екатерина II оставила после себя учреждения, планы, идеи, нравы, при ней воспитанные, и значительные долги. Долги уплачены, и другие раны, нанесенные народному организму ее тяжелыми войнами и ее способом вести «свое маленькое хозяйство», как она любила выражаться о своих финансах, давно зарубцевались и даже закрылись рубцами более позднего происхождения. Из екатерининских учреждений одни действуют доселе в старых формах, но в духе новых потребностей и понятий, другие, как, например, местные судебные учреждения, отслужили свою службу и заменены новыми, совсем на них непохожими ни по началам, ни по устройству; наконец, третьи по своему устройству оказались неудачными уже при самой Екатерине, но их начала были сбережены для лучшей обработки дальнейшими поколениями. Такова система закрытых, оторванных от семьи воспитательных заведений Бецкого, замененная потом другим планом народного образования, над которым работала Комиссия народных училищ: гуманные идеи о воспитании, усвоенные Екатериной и Бецким, пригодились и потом, при другой системе, более близкой к современной педагогике. Из предположений или мечтаний Екатерины II одни, как, например, мысль об освобождении крепостных крестьян, были осуществлены после нее так, как она и не мечтала и как не сумела бы осуществить,

если бы на то решилась, а другие были упразднены самою жизнью как излишние, каковой была мысль о создании *среднего рода* людей в смысле западноевропейской буржуазии. Точно так же и идеи юридические, политические и экономические, проводившиеся в указах и особенно в *«Наказе»* и казавшиеся в то время новыми и смелыми, или уже вошли в плоть и кровь нашего сознания и общежития, или остались общими местами, пригодными украшать досужие беседы взрослых людей или служить темами для школьных упражнений. Что касается нравов, воспитанных влиятельными примерами и общим духом екатерининского времени, то они вообще признаны неудовлетворительными, хотя и пустили глубокие корни в обществе. Вопросы того времени – для нас простые факты: мы считаемся уже с их следствиями и думаем не о том, что из них выйдет, а о том, как быть с тем, что уже вышло.

Значит, счеты потомства с Екатериной II сведены. Для нас она не может быть ни знаменем, ни мишенью; для нас она только предмет изучения. Сотая годовщина ее смерти располагает не судить ее жизнь, а вспомнить ее время; оглянуться на свое прошлое, а не тревожить старые могилы и среди похвальных слов и обличительных памфлетов осторожно пройти к простым итогам давно окончившейся деятельности.

Нелегко поставить мысль в такое отношение к царствованию Екатерины II. Старшие из тех, кому теперь приходится вспоминать это царствование по поводу исполнившегося столетия со дня его окончания, живо помнят еще поздние отзвуки двух резких и непримиримо противоречивых суждений о нем, сложившихся еще при жизни Екатерины II и долго державшихся в обществе после нее. Одни говорили о том времени с восторженным одушевлением или с умиленным замиранием сердца: блестящий век, покрывший Россию бессмертной всесветной славой ее властительницы, время героев и героических дел, эпоха широкого, небывалого размаха русских сил, изумившего и напугавшего вселенную. Прислушиваясь к этим отзвукам, мы начинали понимать донельзя приподнятый тон изданного шесть лет спустя по смерти Екатерины II и читанного нами на школьной скамье *«Исторического похвального слова Екатерине Второй»* Карамзина, смущавшие незрелую мысль выражения его о божественной кротости и добродетели, о священном духе монархини, эти сближения с божеством, казавшиеся нам ораторскими излишествами. По мнению других, вся эта героическая эпопея была не что иное, как театральная феерия, которую из-за кулис двигали славолюбие, тщеславие и самовластие; великолепные учреждения заводились для того

только, чтобы прослыть их основательницей, а затем оставлялись в пренебрежении, без надлежащего надзора и радения об их развитии и успехе; вся политика Екатерины была системой нарядных фасадов с неопрятными задворками, следствиями которой были полная порча нравов в высших классах, угнетение и разорение низших, общее ослабление России. Тщеславие доводило Екатерину, от природы умную женщину, до умопомрачения, делавшего ее игрушкой в руках ловких и даже глупых льстецов, умевших пользоваться ее слабостями, и она не приказывала выталкивать из своего кабинета министра, в глаза говорившего ей, что она премудрее самого господа бога. Проходим молчанием отзывы о нравственном характере Екатерины, которых нельзя читать без скорбного вздоха.

Оба взгляда поражают и смущают не только своей непримиримою противоположностью, но и своими особенностями. Так, второй из них вызывает удивленное недоумение подбором своих сторонников. Наиболее резкое и цельное выражение его находим в известной записке *«О повреждении нравов в России»* князя Щербатова, служившего при дворе Екатерины II, историографа и публициста, человека образованного и патриота с твердыми убеждениями. Автор писал записку про себя, не для публики, незадолго до своей смерти, случившейся в 1790 г., и собрал в этом труде свои воспоминания, наблюдения и размышления о нравственной жизни высшего русского общества XVIII в., закончив нарисованную им мрачную картину словами: «…плачевное состояние, о коем токмо должно просить бога, чтоб лучшим царствованием сие зло истреблено было». Но вот что заслуживает внимания. Известный дорожный сон Радищева, рассказанный в *«Путешествии из С.-Петербурга в Москву 1790 г.»* в главе *«Спасская Полесть»*, – злая карикатура царствования Екатерины II. Здесь, особенно во второй, патетической части сна, где грезивший себя шахом, ханом или чем-то в этом роде автор, прозрев от прикосновения к его ослепленным властью и лестью глазам странницы Прямовзоры, т. е. истины, видит всю бессмыслицу своих деяний, казавшихся ему божественно-премудрыми, и общий тон картины и некоторые отдельные черты живо напоминают записку князя Щербатова. Человек другого поколения и образа мыслей, ультралиберал с заграничным университетским образованием, проникнутый самыми передовыми идеями века и любивший отечество не меньше князя Щербатова, понимавший и признававший величие Петра I, сошелся во взгляде на переживаемое ими время со старым доморощенным ультраконсерватором, все сочувствия которого тяготели к допетровской старине. Что еще

замечательнее, к этим «печальным часовым у двух разных дверей», как назвал князя Щербатова и Радищева один позднейший писатель, присоединяется любимый внук Екатерины, ставший потом вторым ее преемником, которого она еще в пеленках оторвала от семьи, чтобы воспитать его по своей педагогике и в своих идеях: на положение дел в государстве за последние годы жизни бабушки, которые он мог. аблюдать, он смотрел не светлее князя Щербатова и Радищева. «В наших делах, – писал он Кочубею за полгода до смерти Екатерины, – господствует неимоверный беспорядок: грабят со всех сторон, все части управляются дурно, порядок, кажется, изгнан отовсюду». «Я всякий раз страдаю, – признается он в другом месте письма, – когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша». Да и сам Карамзин в записке *«О древней и новой России»*, представленной императору Александру девятью годами позднее *«Похвального слова»*, рядом с блестящими сторонами царствования Екатерины отмечает и крупные «пятна»: порчу нравов в палатах и хижинах, соблазнительный фаворитизм, недостаток правосудия, преобладание блеска над основательностью в учреждениях, прибавляя к этому, что в последние годы Екатерины ее больше осуждали, нежели хвалили. Если припомнить при этом еще известную заметку Пушкина о XVIII в., писанную около 1820 г. по свежим преданиям, то, и не упоминая о других, менее компетентных суждениях, современных или позднейших, можно понять характерно разнообразный состав того, что мы назвали бы противоекатерининской оппозицией.

И все же это были одинокие голоса, которые были слышны очень немногим, за исключением разве книги Радищева, раздавались шепотом, про себя или в тесном кругу и потому не могли расстраивать хорового суждения, так красноречиво выраженного в *«Похвальном слове»* Карамзина. И это суждение не совсем понятно и не столько по своему содержанию, сколько по своей возбужденности, по тому движению чувства и воображения, с которым оно высказывалось. Это был не исторический приговор, выведенный остывшей мыслью из обдуманных и проверенных воспоминаний о пережитом времени, а горячее, непосредственное впечатление еще живой действительности, долго не замиравшей и по смерти лица, которое было ее душой. Такое впечатление было небывалым явлением в нашей истории: ни одно царствование, по крайней мере в XVI в., даже царствование Петра Великого, не оставило после себя такого энтузиастического впечатления в обществе. Карамзин, конечно, выражал последний,

наиболее обобщенный результат, высшую сумму того, что восторженные современники видели в деятельности Екатерины II, когда писал в конце своего *«Похвального слова»*, что Россия в это деятельное царствование, «которого главною целью было народное просвещение, столь преобразилась, возвысилась духом, созрела умом, что отцы наши, если бы они теперь воскресли, не узнали бы ее». Все это можно было сказать и о Петре Великом, даже с прибавлением, что его главною целью было еще и народное обогащение; люди времен Алексея Михайловича также не узнали бы своей старой московской *всея Руси* в созданной его сыном Российской империи с С.-Петербургом, Кронштадтом, флотом, балтийскими провинциями, девятимиллионным бюджетом, новыми школами и т. п. Однако даже в обществе, захваченном реформой, не в простонародной массе, незаметно такого общего весело-умиленного отношения к памяти Петра, какое потом установилось к Екатерине II: слышны отдельные голоса, проникнутые набожным благоговением, да и то пополам с жалобой на затруднения и огорчения, какие приходилось испытывать преобразователю, а скоро, и именно в царствование Екатерины II, послышались и резкие порицания его дела.

Это впечатление, независимо от своей исторической верности, от точности, с какою отражалась в нем действительность, само по себе становится любопытным историческим фактом, характерным признаком общественной психологии. Оно тем любопытнее, что царствование Екатерины II нельзя причислить к спокойным и легким временам, о которых люди вспоминают с особенным удовольствием. Напротив, это была довольно тревожная и тяжелая для народа пора. Сравнительным спокойствием Россия пользовалась в первые пять лет царствования, если не считать серьезным нарушением спокойствия крестьянских бунтов, в которых, по счету самой Екатерины, в первый год царствования участвовало до 200 тыс. крестьян и против которых снаряжались настоящие военные экспедиции с пушками. Затем семилетний приступ внешних и внутренних тревог.1768–1774 гг.), начавшийся борьбою с польскими конфедератами, к которой вскоре присоединилась первая турецкая война, а внутри между тем – чума, московский бунт и пугачевщина. Современники, например, князь Щербатов, думали, что первая турецкая война обошлась России дороже какой-либо прежде бывшей войны. Из официальных источников известно, что только первые два года этой шестилетней войны стоили до 25 млн руб., что почти равнялось годовому казенному доходу тех лет. Кагульский бой был выигран 17-тысячным русским отрядом у 150-тысячной турецкой армии. Но в августе

1773 г. Екатерина говорила в Совете, что с 1767 г. в пять наборов собрано уже со всей империи для пополнения армии до 300 тыс. рекрутов. За миром в Кучук-Кайнарджи в 1774 г. следовало 12-летнее затишье во внешней политике: это было время усиленной внутренней деятельности правительства, эпоха законобесия (legislomanie), как выражалась Екатерина, когда вводились новые губернские учреждения; учреждены были комиссия народных училищ и ссудный банк, обнародованы *Устав благочиния*, жалованные грамоты дворянству и городам, устав народных училищ 1786 г. и другие важные государственные акты. Почти повсеместным голодом 1787 г. открылся второй приступ тревог, не прекращавшийся до смерти Екатерины: вторая турецкая война, тяжелая не менее первой, и в одно время с нею война шведская, две войны с Польшей перед вторым и третьим ее разделом, персидский поход, финансовый кризис, военные приготовления к борьбе с революционной Францией. Из 34 лет царствования 17 лет борьбы внешней или внутренней на 17 лет отдыха! Недаром преемник Екатерины в циркуляре, разосланном к европейским дворам по вступлении на престол, называл Россию «единственною в свете державой, которая находилась 40 лет в несчастном положении истощать свое народонаселение». Значит, людям, пережившим сорокалетие с 1756 г., с начала Семилетней войны, оно представлялось временем непрерывного военного напряжения.

Правда, и результаты царствования были очень внушительны. Екатерина любила подсчитывать их, все чаще оглядываясь на свою деятельность по мере ее развития. В 1781 г. граф Безборд ко представил ей инвентарь ее деяний за 19 лет царствования: оказалось, что устроено губерний по новому образцу 29, городов построено 144, конвенций и трактатов заключено 30, побед одержано 78, замечательных указов издано 88, указов для облегчения народа – 123, итого 492 дела! К этому можно прибавить, что Екатерина отвоевала у Польши и Турции земли с населением до 7 млн душ обоего пола, так что число жителей ее империи с 19 млн в 1762 г. возросло к 1796 г. до 36 млн, армия со 162 тыс. человек усилена до 312 тыс., флот, в 1757 г. состоявший из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, в 1790 г. считал в своем составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов, сумма государственных доходов с 16 млн руб. поднялась до 69 млн, т. е. увеличилась более чем вчетверо, успехи промышленности выразились в умножении числа фабрик с 500 до 2 тыс., успехи внешней торговли балтийской – в увеличении ввоза и вывоза с 9 млн до 44 млн руб., черноморской, Екатериною и созданной, – с 390 тыс. в 1776 г. до 1900 тыс. руб. в 1796 г., рост

внутреннего оборота обозначился выпуском монеты в 34 года царствования на 148 млн руб., тогда как в 62 предшествовавших года ее выпущено было только на 97 млн. Значение финансовых успехов Екатерины ослаблялось тем, что видное участие в них имел питейный доход, который в продолжение царствования увеличен был почти вшестеро и к концу его составлял почти третью часть всего бюджета доходов. Притом Екатерина оставила более 200 млн долга, что почти равнялось доходу последних 3 1/2 лет царствования.

Результаты царствования, как ни были они важны, могли давать себя чувствовать медленно, по мере своего обнаружения, ощутительнее младшим поколениям, воспринимавшим уже сложившееся впечатление царствования, чем старшим, в которых оно складывалось; во всяком случае эти результаты могли скорее питать, чем зародить, это впечатление. Сами по себе они могли вызвать удивление, даже благоговение, какое питали к Петру I, но не восторженное обаяние.

В памяти людей, 100 лет назад оплакивавших смерть Екатерины, прежде всего выступали из прожитой дали явления, особенно сильно поразившие в свое время их воображение и чувство: Ларга, Кагул, Чесмена, Рымник и победные празднества, слезы, пролитые при чтении «Наказа», Комиссия 1767 г., торжественные собрания и речи наместников и дворянских предводителей при открытии губернских учреждений, блестящие оды, придворные маскарады, на которых в десятках дворцовых комнат толпилось 8540 масок, путешествие императрицы в Крым со встречавшими ее на пути иллюминациями на 50 верст в окружности, с волшебными дворцами и садами, в одну ночь созданными. Не одни Таврические сады, но и целые Новороссии вырастали из-под земли, целые флоты всплывали из-под неведомых черноморских волн в немногие годы; «монархиня повелела, и глас ее, как лира Амфионова, творит новые грады, если не великолепием, то своею пользою украшенные» (Карамзин). Недаром екатерининская Россия некоторым иностранцам-современникам представлялась волшебною страной (pays de feerie). Воспоминания об этих явлениях, пережитых на протяжении 34 лет, соединяясь в быстро двигавшуюся ослепительную панораму, собирали рассеянные ощущения, ими вызванные, в цельное и сильное впечатление. Большинство тогда еще не знало закулисной механики всех этих семирамидиных чудес, да если бы и знало, еще неизвестно, стало ли бы думать о них иначе: впечатление любимой пьесы не ослабляется знанием того, как, с какими усилиями и жертвами она разучивается и ставится. В записках современников Екатерины, ее переживших,

останавливает на себе внимание одна черта. Они знают и трезво описывают темные стороны тогдашней правительственной деятельности и общественной жизни: небрежность и злоупотребление администрации, неподготовленность и недобросовестность судей, праздность и грубость дворянства, его нелады с крестьянами, пустоту общежития, общее невежество. Но когда они отрывались от этих вседневных печально-привычных явлений своего быта и пытались обыкновенно по поводу смерти Екатерины бросить общий взгляд на ее век, отдать себе отчет в его значении, их мысль как бы невольно, с незамечаемой ею последовательностью, переносилась в другой, высший порядок представлений, и тогда они начинали говорить о всесветной славе Екатерины, о мировой роли России, о национальном достоинстве и народной гордости, об общем подъеме русского духа, и при этом речь их приподнималась и впадала в тон торжественных од екатерининского времени.

Они высказывали этот взгляд без доказательств, не как свое личное суждение, а как установившееся общепринятое мнение, которое некому оспаривать и не для чего доказывать. Очевидно, здесь читатель мемуаров имеет дело не с историческою критикой, а с общественною психологией, не размышлением, а с настроением. Люди судили о своем времени не по фактам окружавшей их действительности, а по своим чувствам, навеянным какими-то влияниями, шедшими поверх этой действительности. Они как будто испытали или узнали что-то такое новое, что мало подняло уровень их быта, но высоко приподняло их самосознание или самодовольство, и, довольные этим знанием и самими собой, они смотрели на свой низменный быт свысока, со снисходительным равнодушием. Их чувства и понятия стали выше их нравов и привычек; они просто выросли из своего быта, как дети вырастают из давно сшитого платья. Можно даже думать, что самый пессимизм людей, мрачно смотревших на царствование Екатерины, черпал долю своей силы в этом общем духовном подъеме, происшедшем в это же царствование, и без того не был бы столь взыскателен. Если это так, то Екатерине пришлось испытать приятное и почетное неудобство, какое испытывает хороший преподаватель, который, чем успешнее преподает, тем более усиливает требовательность учеников и помогает им замечать еще не побежденные недостатки своего преподавания.

Впечатление – совместное дело обеих сторон: и источника влияния и среды, его воспринимающей. Победы и торжества, законы и учреждения, блеском которых была окружена Екатерина, конечно, должны были сильно действовать на умы. Но

в этом окружении и сама власть принимала позу, в какую она не становилась прежде, являлась перед обществом с другою физиономией, с непривычными манерами, словами и идеями. Эта новая постановка власти усиливала и действие самой ее обстановки, создавала настроение, без которого все эти победы и торжества, законы и учреждения ее не произвели бы на общество такого сильного впечатления. С этой стороны впечатление царствования Екатерины – очень важный момент в истории не только нашего общественного сознания, но и государственного порядка.

Некоторые свойства характера Екатерины II и особенности ее политического воспитания имели первостепенное значение в этой новой постановке власти, как и в образовании впечатления, произведенного [ее] царствованием.

II

Достойно внимания, что люди, близко наблюдавшие Екатерину II, принимаясь разбирать ее характер, обыкновенно начинали с ее ума. Правда, в уме не отказывали ей даже ее недруги, кроме ее мужа, который, впрочем, и не считался компетентным экспертом в таком деле. Однако это не была самая яркая черта характера Екатерины: она не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума. Конечно, такому «умнику», как ее ставленник король польский Станислав Понятовский, который не мог. агу ступить без того, чтобы не сказать красивого словца и не сделать глупости, ум Екатерины II должен был казаться необъятной величиной. «Там очень умны, там, – писал он про Екатерину г-же Жоффрен, – но уж очень гоняются за умом». Последнее – напраслина на Екатерину и сказано по привычке судить о других по себе: кто гоняется за тем, чем уже владеет? Екатерина была просто умна и ничего более, если только это малость. У нее был ум не особенно тонкий и глубокий, зато гибкий и осторожный, сообразительный, умный ум, который знал свое место и время и не колол глаз другим. Екатерина умела быть умна кстати и в меру. Она, которой со всех сторон напевали в уши о ее великом уме, так простодушно признавалась доктору Циммерману на верху своей славы, что знала весьма много людей несравненно умнее ее. У нее вообще не было никакой выдающейся способности, одного господствующего таланта, который давил бы все остальные силы, нарушая равновесие духа. Но у нее был один счастливый дар, производивший наиболее сильное впечатление: памятливость, наблюдательность, догадливость, чутье положения, уменье быстро схватить и обобщить все наличные данные, чтобы вовремя принять решение, выбрать тон, в случае надобности благоразумная мораль и умеренно согретое чувство – все эти мелкие пружины, из деятельности которых слагается ежедневная житейская работа ума, Екатерина умела приводить в движение легко и ежеминутно, когда бы это ни понадобилось, без заметного для зрителя усилия. Эта всегдашняя готовность к мобилизации сообщала Екатерине чрезвычайную живость без увлечения. Она всегда была в полном сборе, в обладании всех своих сил. Странническая молодость Екатерины, ранняя привычка жить среди чужих людей много содействовала этой, говоря языком старых учебников психологии, постоянной *самособранности*. Отсюда же ее находчивость в неожиданных затруднениях: ее трудно было застать врасплох, и при уменье собираться с мыслями она быстро соображала, чего от

нее требует минута. Та же привычка жить не дома, сталкиваться с чужими людьми, в которых она нуждалась больше, чем они в ней, вместе с чутьем среды и положения рано развила в Екатерине наблюдательность, соединенную с уживчивостью: я могу приноровляться ко всяким характерам, говорила она Храповицкому, уживусь, как Алкивиад, и в Спарте и в Афинах. Наблюдательность – на это дело больше охотников, чем мастеров. Екатерина достигла большого искусства в этом деле и выработала на то свои приемы. Она охотнее наблюдала людей, чем вещи, рассчитывая, что через знающих людей лучше узнает вещи, чем собственным изучением. Наперекор общей наклонности замечать чужие слабости, чтоб ими пользоваться, Екатерина думала, что если нуждаешься в других, то полезнее изучать их сильные стороны, на которые надежнее можно опереться. И она вслушивалась и всматривалась во всякого чем-нибудь выдающегося человека, изучала его мышление, знание, взгляды на людей и вещи. В обращении она не старалась блистать разговором, чтобы не мешать высказываться собеседнику. Зато в ней удивлялись искусству слушать, долго и терпеливо выслушивать всякого, о чем бы кто ни говорил с ней; притом собеседника своего она изучала больше самого предмета беседы, хотя тому казалось наоборот. Так вместе со знанием людей Екатерина выработала себе и лучшее средство приобретать их – внимание к *человеку*, уменье входить в его положение и настроение, угадывать его нужды, задние мысли и невысказанные желания: вовремя дав собеседнику почувствовать, что и он сам и его слова поняты в наилучшем для него смысле, она овладевала его доверием. В этом заключалась тайна неотразимого влияния, какое, по словам испытавшей его на себе княгини Дашковой, Екатерина умела своим восхитительным обращением производить на тех, кому хотела нравиться. Привычка слушать могла даже превращаться у нее в автоматическую манеру: слушая знакомую возвышенно-скучную трескотню какого-нибудь Бецкого, она сохраняла вид внимания, думая совсем о другом. И она хорошо знала людей, с которыми ей приходилось вести дела, от своей горничной Марьи Саввишны Перекусихиной до короля Фридриха II Великого. Эти свойства помогли ей выработать пригодные средства действия в среде, где ей пришлось действовать.

«Като (Cathos, как звали Екатерину в обществе Вольтера) лучше видеть издали», – писала Екатерина Гримму в 1778 г., прося его отговорить 80-летнего фернейского пустынника от непосильной для его лет поездки в С.-Петербург. Люди, близко видавшие ее, находили в ней немало слабостей. Ее упрекали в

славолюбии, «в самолюбии до бесконечности», в тщеславии, любви к лести. Может быть, корни этих слабостей лежали в самом ее характере, но, несомненно, в их развитии и формах обнаружения принимала участие ее политическая судьба. Честолюбие и слава суть потаенные пружины, которые приводят в движение государей, сказал однажды Фридрих II русскому послу, говоря о Екатерине. Но Екатерине необходимо было пользоваться этими пружинами по расчетам безопасности. Слава была для нее средством упрочить за собой приобретенное положение. Эта необходимость, возбуждая самолюбие, удерживала от ослепленного самомнения. Екатерина знала, что самомнение, принимающее притязание за таланты, – лучшее средство стать смешным, а она больше всего боялась стать предметом смеха или сострадания, что было и небезопасно в ее положении. У нее было осмотрительное, даже мнительное самолюбие, заставлявшее ее соображать замыслы и притязания со средствами оправдать их. Она признавала необходимым иметь такие оправдательные средства, но была настолько уверена в себе, что надеялась всегда найти их, когда того потребует положение. Чтобы быть чем-нибудь на этом свете, пишет она, припоминая размышления своего детства, надобно иметь нужные для того качества; заглянем-ка хорошенько внутрь себя, имеются ли у нас такие качества, а если их нет, то разовьем их. При такой осмотрительности, находчивая и решительная в мелких случаях, она имела привычку колебаться перед крупными делами, взвешивать вероятности успеха и неудачи, советоваться, выведывать мнения.

В этой мнительности при постоянной заботе о мнении света, кажется, надобно искать и корни ее слабости к лести. Трудно подумать, чтобы при своей трезвой, положительной натуре, чуждавшейся всего мечтательного и платонического, Екатерина могла любить лесть просто за доставляемое ею чувство самодовольства и при своем самолюбии не оскорбляться обидным мнением, какое льстец имеет о своей жертве. Но, пробиваясь на простор из тесной доли, она смолоду научилась знать цену людскому мнению, и ее всегда страшно занимал вопрос, что о ней думают, какое производит она впечатление. Одобрительные отзывы были для нее что аплодисменты для дебютанта – возбуждали и поддерживали ее силы, ее веру в себя. Достигнув власти, она видела в таких отзывах признание своих добрых намерений и сил исполнить их и считала своею обязанностью быть благодарной. Когда уволенный от должности Державин в 1789 г. поднес Екатерине чрез секретаря ее Храповицкого вместе с прошением и свою «Фелицу», с каким удовольствием прочитала

она секретарю стихи из этой оды: «Еще же говорят неложно,/ Что будто завсегда возможно/ Тебе и правду говорить», – и сказала Храповицкому: «On peut lui trouver une plac». Ее недостаток был в том, что наемное усердие клакеров она нередко принимала за выражение чувств увлеченной и благодарной публики. Но она обижалась лестью, когда подозревала в ней неискренность. Вольтер, один из самых усердных, но не самый ловкий из ее льстецов, не раз получал от нее почтительные и нежные щелчки за неловкость, а не за усердие. Со временем панегирики вошли в состав придворного и правительственного этикета: Екатерине жужжали в уши ее эпопею иноземные послы и сановники на куртагах и табельных торжествах, директор кадетского корпуса Бецкий – на кадетских представлениях Чесменского боя, директор театра Елагин – на публичных спектаклях с куплетами о Кагуле или Морейской экспедиции, генерал-прокурор князь Вяземский – в сенатских докладах и финансовых отчетах. Екатерина привычным слухом внимала всему этому песнопению как выражению обязательного усердия по долгу службы и присяги и, только когда певцы славы начинали уж слишком больно резать ухо фальцетом от избытка усердия, обращалась к окружающим со стыдливой оговоркой: «Il me loue tant, quenfin il me gtera». Она любила почтительное отношение к себе, и когда император Иосиф II, в котором она видела только немощь физическую и духовную, в 1780 г. приехал к ней на поклон в Могилев, то стал и человеком очень образованным, и «головой, самой основательной, самой глубокой, самой просвещенной, какую я знаю», хотя она и подшучивала язвительно над панихидой, отслуженной им в Петербурге за упокой души Вольтера из уважения к его набожной ученице. Но, когда И. И. Шувалов, возвратясь из Италии, сообщил ей, что там художники делают ее профиль по бюстам или медалям Александра Македонского и вполне довольны получаемым сходством, она шутила над этим с видимым самодовольством. Не видать также, чтоб она сердилась на своего заграничного корреспондента Гримма, который в шутливом письме приписал ей на 52-м году жизни «наружность матери амуров». Но тому же Гримму она признавалась, что на нее благотворно действовали не похвалы, а злословие, побуждавшее ее отметить ему, делами доказать его лживость.

С летами, когда европейские знаменитости стали величать ее самой дивною женщиной всех времен, привычка к удаче сделала ее несколько самонадеянной и очень обидчивой. Она раздражалась не только порицанием ее действий, но и мнениями, с которыми была несогласна. Это нередко вводило ее впросак и в противоречие с собой. Это был смелый шаг. ее стороны – во

французском переводе представить вниманию французского общества свой «Наказ», наполненный выписками из книг, и без того хорошо там известных. Но французских экономистов с Тюрго во главе за то, что они осмелились разбирать «Наказ» и даже прислать ей этот разбор, она обозвала дураками, сектой, вредной для государства. Она не могла простить Рейналю его отзыва, что ей ничего не удается, и называла его ничего не стоящим писателем. Даже свой вкус она считала обязательным для других и за это раз была наказана своим главным кухмистером Барманом. Екатерина любила архитектуру, живопись, театр, скульптуру, но музыки не понимала и откровенно признавалась, что для нее это шум и больше ничего. Веселая и смешливая, сама признававшая веселость наиболее сильной стороной своего характера, она допускала исключение только для комической оперы, и выписанный из Италии маэстро Паизиелло веселил ее на ее эрмитажном театре оперой «Le philosophe ridicule», где, по ее словам, морила ее до упаду ария, в которой положен на музыку кашель. Она заставляла посещать эту оперу даже святейший синод, который, по ее словам, «также смеялся до слез вместе с нами». Она вообще любила веселый репертуар и раз за обедом спросила Бармана, нравится ли ему «Die schone Wienerin», фарс, особенно ее увлекавший. «Да бог. нает, оно как-то грубо», – отвечал простодушно несообразительный кухмистер. Екатерина вспыхнула и едва ли удачно поправила положение, заметив в тоне той же schone Wienerin: «Я желала бы, чтобы у моего главного кухмистера был такой же тонкий вкус (разумеется, кухонный), как тонки его понятия».

Впрочем, бюсты Александра Македонского не усыпляли в ней ее истинной силы – энергии. Приняв решение после некоторых колебаний, она действовала уже без раздумья, и тогда все на свете в ее глазах становилось прекрасным: и положение империи, и дела сотрудников, и ее собственные дела-все благоденствовало, пело и плясало. Во время первой турецкой войны, когда на Западе трубили уже об истощении России, Екатерина писала Вольтеру, что у нее в империи нигде ни в чем нет недостатка, нет крестьянина, который не ел бы курицы, когда хотел, везде поют благодарственные молебны, пляшут и веселятся, а когда в 1769 г. русские дела шли совсем плохо и недоброжелатели Екатерины потирали руки от удовольствия, пророча ей скорое падение, она писала подруге своей матери Бьелке: «Пойдем бодро, вперед! – поговорка, с которою я провела одинаково и хорошие, и худые годы, и вот прожила 40 лет, и что значит настоящая беда в сравнении с прошлым?» Бодрость была одним из самых счастливых свойств характера Екатерины, и она старалась

сообщать ее своим сотрудникам в самых простых формах. Когда австрийцы, во все время первой турецкой войны грозившие России заступиться за турок, завершили свое заступничество тем, что отняли у своих клиентов Буковину, с каким самодовольством писала она князю Репнину, что цесарцы непременно поссорятся с турками и будут побиты, а она руки в боки, фертом будет сидеть да смотреть на это, повторяя: вот так удружили! Екатерина не выносила уныния. «Для людей моего характера, – признавалась она, – ничего нет в мире мучительнее сомнения». Притом уныние вождя расстраивает команду, и Екатерине подчас приходилось поступать, подобно людям, над которыми они с Гриммом шутили в своей переписке, которые поют ночью на улице, чтобы показать, что они не трусы, а еще более из боязни, как бы не струсить. Только раз, когда получено было известие, что турки объявили войну (вторую), замечена была ее минутная робость, и она с упавшим духом начала было говорить об изменчивости счастья, о непрочности славы и успехов, но скоро пришла в себя, с веселым видом вышла к придворным и всем вдохнула уверенность в успехе. Так рассказывает очевидец. В этих случаях Екатерину выручало ее испытанное самообладание, выработанное ею еще в те времена, когда в незавидном положении брошенной жены, оскорбляемая мужем как жена и как женщина, и в возможном будущем с клобуком русской инокини на своей вольтерьянской голове, она наедине обливалась слезами, но тотчас вытирала глаза и как ни в чем не бывало, с веселым лицом выходила в общество. Недаром она хвалилась, что никогда в жизни не падала в обморок. Очень редко, и то лишь в первые шаткие годы царствования, видали ее задумчивой. До поздних лет, на седьмом десятке, в добрые, как и худые дни, она встречала являвшихся по утрам статс-секретарей со своей всегдашней, всем знакомой улыбкой, сидя на стуле за маленьким выгибным столиком в белом гродетуровом капоте и белом флеровом немножко набекрень чепце на довольно густых еще волосах, со свежим лицом и с полным ртом зубов (одного верхнего недоставало), в очках, если вошедший заставал ее за чтением, в ответ на низкий поклон ласково, со своим характерным поворотом головы под прямым углом протягивала руку и, указывая на стул против себя, своим протяжным и несколько мужским голосом говорила: «Садитесь».

Живость без возбужденности требовала работы, и современники удивлялись трудолюбию Екатерины. Она хотела все знать, за всем следить сама. Находя, что человек только тогда счастлив, когда занят, она любила, чтобы ее тормошили, и признавалась, что от природы любит суетиться и, чем более

работает, тем бывает веселее. Постоянная работа стала ее привычкой и спасала её от скуки, которой она так боялась. Занятия шли у нее в строго размеренном порядке, однообразно повторявшеюся изо дня в день чередой, но, по ее словам, в это однообразие входило столько дела, что ни минуты не оставалось на скуку. Когда наступали важные внешние или внутренние дела, она обнаруживала усиленную деятельность, по ее выражению, суетилась, не двигаясь с места, работала, как осел, с 6 часов утра до 10 вечера, до подушки, «да и во сне приходит на мысль все, что надо было бы сказать, написать или сделать». Сам Фридрих II дивился этой неутомимости и с некоторой досадой спрашивал русского посла: «Неужели императрица в самом деле так много занимается, как говорят? Мне сказывали, что она работает больше меня».

В молодости она много работала над своим образованием и рано запаслась разнообразными сведениями. Свою начитанность она объясняла житейскими неудачами, доставившими ей для того много досуга. В шутливой эпитафии самой себе, написанной в 1778 г., она признается, что 18 лет скуки и уединения (т. е. замужества, 1744–1762 гг.) заставили ее прочитать множество книг. Приобретенный запас она старалась пополнять, и на престоле. Она хотела стоять в уровень с умственным и художественным движением века. С.-Петербургский Эрмитаж со своими картинами, ложами Рафаэля, тысячами гравюр, камей-монументальный свидетель ее забот о собирании художественных богатств, а в самом Петербурге и его окрестностях, особенно в Царском Селе, сохранились еще многие сооружения работавших по ее заказам иностранных мастеров Тромбара, Кваренги, Камерона, Клериссо, не говоря уже о Фальконете, а также и о русских художниках Чевакинском, Баженове и многих других. Из Плутарха, Тацита и других древних писателей, прочитанных ею во французских переводах, из романов, драм, опер, разных историй она запаслась множеством политических и нравственных примеров, изречений, анекдотов, острот, поговорок, разнообразных мелких сведений, которыми она поддерживала гостиную causerie на своих вечерах и украшала свою обширную переписку. В научном и литературном движении Запада она хотела участвовать не одними щедрыми подарками, пенсиями, покупками по пожалованному ей там званию царскосельской Минервы, но и прямым знакомством с ученою литературой как образованный человек своего времени. При свидании в Могилеве Екатерина самодовольно удивилась, заметив, что «Эпохи» Бюффона еще не попадались Иосифу II под руки. Сама она прочитала эту книгу с увлечением и признавалась, что Бюффон

своим творением прибавил ей мозгу. Она штудирует историю астрономии Бальи, торопит свою Академию наук определением широты и долготы городов С.-Петербургской губернии, изучает Гиббона, английского законоведа Блекстона, обрабатывает русские летописи, чтобы составить историю России для своих внуков, и даже погружается в сравнительное языковедение, чему опять помогло одно домашнее горе. Летом 1784 г. умер Ланской. Екатерина, называвшая его своим воспитанником, была безутешна, опасно занемогла сама, оправилась, но замкнулась в своем кабинете, не могла ни есть, ни спать, не выносила лица человеческого. Почуяв беду, прискакал из Крыма другой воспитанник – Потемкин и вместе с Ф. Орловым осторожно пробрался к Екатерине. Она расплакалась, за ней заревели оба утешителя, и «я почувствовала облегчение», – добавляет она, описывая эту сцену. Она хотела утопить свое горе в усиленном чтении и принялась за присланное ей незадолго перед тем многотомное филологическое сочинение in quarto французского ученого Кур де Жебеленя «Monde primitif». Она увлеклась мыслью автора о первобытном, коренном языке, праотце всех позднейших, обложилась всевозможными лексиконами, какие могла собрать, и принялась составлять сравнительный словарь всех языков, положив в основу его русский, собирая для него материалы, тормошила филологическими запросами и поручениями своих послов при иностранных дворах, губернаторов, даже восточных патриархов и самого маркиза Лафайета. Эти словарные хлопоты кончились тем, что работа со всеми собранными материалами была передана академику Палласу, который к 1787 г. и приготовил первый том издания под заглавием *«Сравнительные словари всех видов языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы»*.

Наиболее сильное действие на политическое образование Екатерины оказало ее столь известное знакомство с тогдашнею литературой просвещения – с Монтескье и Беккариа, которыми она так усердно воспользовалась для своего *«Наказа»*, и особенно с Вольтером, которого она благоговейно называла своим учителем и которому писала, что желала бы знать наизусть каждую страницу его *«Опыта»* всеобщей истории; по смерти его она выражала желание, чтоб его изучали, затверживали наизусть, и писала, что изучение его образует граждан, гениев, героев и писателей, разовьет сто тысяч талантов. Вольтеру она была благодарна и за то, что он, по ее словам принцу де Линю, ввел ее в моду. Но к другим литературным корифеям она потом охладела и жаловалась тому же принцу, что они навели на нее скуку и не поняли ее. Она не любила людей, натертых чужим умом и

знанием, как говорила она, повторяя выражение своей приятельницы г-жи Жоффрен. Но сама она была так восприимчива, так быстро схватывала и усвояла чужую идею, что присвояла ее себе, а в источнике видела только ее развитие или же развивала ее по-своему. Отсюда ее наклонность подражать и пародировать. Прочитала она в немецком переводе драматические хроники Шекспира, и у нее явился свой *«Рюрик»*, «историческое представление, подражание Шакеспиру». Из внимательного изучения политической литературы она едва ли вынесла какой-либо определенный, цельный план нормального государственного устройства. В упомянутой эпитафии она называет себя женщиной с добрым сердцем и республиканскою душой, именно с *душой*, а не с образом мыслей, соответствующим такому политическому порядку. Как все люди, больше наблюдавшие, чем размышлявшие, она не исчерпывала усвояемой идеи до дна, до глубины ее корней, а овладевала ею лишь настолько, чтоб ее можно было растолковать другим без особенных усилий и развить в понятные всем последствия. О Блекстоне, который был для нее обильным источником юридических сведений и законодательных идей, она писала, что ничего не берет из его сочинений прямо, целиком, а только вытягивает оттуда нить, которую разматывает по-своему. Но это изучение приучило ее мысль размышлять о таких трудных предметах, как государственное устройство, происхождение и состав общества, отношение лица к обществу, дало направление и освещение ее случайным политическим наблюдениям, уяснило ей основные понятия права и общежития, те политические аксиомы, без которых нельзя понимать общественной жизни и еще менее можно руководить ею. Так как в тогдашних теориях политика неразрывно связывалась с гражданскою моралью, то политические понятия Екатерины окрасились тем несколько туманным благодушным свободомыслием, которое усвояется именно добрым сердцем больше, чем сознанием, и не облекается в какие-либо практически пригодные учреждения или законы, а выражается больше в приемах и духе управления, растворяется в чувство общего доброжелательства к человеку и человечеству, в желание им счастья и свободы от всякого гнета и заблуждения. Это и были те «мои принципии», которые потом подробно и систематически изложены были в *«Наказе»* и на которые она указывала Комиссии об уложении, как на основание нового законодательства, ею предпринятого. Она начала обдумывать их еще до воцарения, руководимая каким-то внутренним голосом, который, как она признается в своих мемуарах, ежеминутно внушал ей, что рано или поздно она достигнет русского престола.

Сохранилось несколько записочек, в которых она набрасывала мысли, мимолетно набегавшие среди чтения и вызванных им размышлений. «Я желаю только добра стране, куда бог. еня привел, – писала она, – слава страны составляет мою собственную – вот мой принцип; была бы я очень счастлива, если б мои идеи могли этому способствовать». Эти идеи относились и к внешней и к внутренней политике. Обширной империи, нуждающейся в населении, необходим мир. В этом отношении едва ли полезно обращать наших инородцев в христианство: многоженство лучше содействует умножению населения. «Власть без народного доверия ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным». Для этого стоит только принять в основание действий народное благо и правосудие. «Хочу общей цели – сделать счастливыми, а не каприза, ни странностей, ни жестокости». Средства действий – правда и разум, который, будьте уверены, возьмет верх в глазах толпы. Правосудию и христианской религии противно рабство. Все люди родятся свободными. «Хочу повиновения законам, а не рабов». Но разом освободить русских крестьян нельзя: этим не приобретешь любви землевладельцев, исполненных упорства и предрассудков. Но есть легкий способ: *постановить* освобождать крестьян при продаже имений, и вот через сто лет народ свободный. «Свобода – душа всех вещей, без тебя все мертво». Необходимы новые законы. Единственное средство узнать, хорош или нет новый закон, – распустить о нем слух на рынке и велеть доносить, что про него говорят. «Но кто вам донесет о последствиях в будущем?» Необходимо отменить варварский обычай пытки, ненавистную конфискацию имущества виновных, чрезвычайные судные комиссии, особенно секретные, к которым, «мне кажется, всю мою жизнь буду чувствовать отвращение». Однако главное дело не в законах. «Снисхождение, примирительный дух государя сделают более, чем миллионы законов, а политическая свобода даст душу всему. Часто лучше внушать преобразования, чем их предписывать». Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены, писала Екатерина в 1765 г. в наставлении своему сыну и потомкам: «Изволь мериться на сей аршин; а если кто из вас, мои дражайшие потомки, сии наставления прочтет с уничтожением, так ему более в свете и особливо в российском счастья желать, нежели пророчествовать можно». С летами, под веянием житейского опыта ее мысль несколько остыла и возвратила свою природную трезвость, даже с оттенком какого-то шутливого пессимизма. «Tout se mange dans ce monde – ci», – сказала она однажды Храповицкому, увидев, как галки и вороны клевали червей, выползших из земли после дождя. Все-то на свете ест

друг. руга, и под влиянием этого наблюдения она писала, что только посредственные головы могут увлекаться мечтой о вечном мире. Юношеские идеи не были брошены, но получили более тесное применение, были переведены из политики в литературу. «Я вполне понимаю ваши великие начала, – говорила она своему гостю Дидро в 1774 г., – только с ними хорошо писать книги, но плохо действовать. Вы имеете дело с бумагой, которая все терпит, а я, бедная императрица, имею дело с людьми, которые почувствительнее и пощекотливее бумаги». Поблекла и юношеская вера в силу правды и разума. «Род человеческий вообще склонен к неразумию и несправедливости, – писала Екатерина доктору Циммерману, – если бы он слушался разума и справедливости, то в *нас* (государях) не было бы нужды». Прежде разум и правда казались ей необходимыми и достаточными опорами власти, желающей быть благотворной и сильной, а теперь сама власть представлялась ей печально необходимою заплатой на прорехах человеческой природы, образуемых недостатком этих благодетельных сил.

III

Таковы личные средства, принесенные на престол Екатериной. Они состояли в гибкости и энергии характера, «в волюшке, – по ее выражению, – против которой не устоит никакое препятствие», в житейском опыте, сообщавшем ей тот «закал души», которым она так гордится в своих записках, в чутье среды и уменье к ней применяться, в значительной выработке политического мышления и в обильном запасе гуманных политических идей, не вполне ясных и соглашенных между собою, едва выходивших из расплавленного состояния, не успевших еще отлиться в твердые убеждения и много-много кристаллизовавшихся в добрые намерения. Но она знала по опыту и записала в одной из записочек, что «недостаточно быть просвещенным и иметь наилучшие намерения и даже власть исполнить их». Надобны еще обдуманные приемы действия, подходящие исполнители, подготовленные умы и слаженные интересы.

«У меня много постоянства и великое уважение к истине», – наставительно писала однажды Екатерина датскому королю Христиану VII. Отклоняя от себя излишние похвалы, она любила приписывать свои успехи сотрудникам и счастью: «Поверьте, – говорила она принцу де Линю, – я только что счастлива, и если мною несколько довольны, то это потому, что я несколько постоянна и одинакова в своих привычках». Но князь Щербатов упрекает ее в такой изменчивости, «что редко и один месяц одинаковая у ней система в рассуждении правления бывает». Должно быть, этот упрек относится больше к ее приемам действия. В этом отношении она не была особенно строга. Ссылаясь на пример дон Базилио в *«Севильском цирюльнике»*, она писала: «И у меня есть кой-какие маленькие правила, которые я прилагаю с известным разнообразием». Она думала, что каждый принимает тон и склад своего положения и что для успеха в этом мире иногда необходимо разнообразить свою походку. Держась известных принципов, она не считала необходимым возводить в неподвижную систему приемы действия, сообразуемые с вечно меняющимися минутами. Сопоставляя представительные французские собрания при Калонне и Неккере со своею Комиссией 1767 г., она писала: «Мое собрание депутатов вышло удачным, потому что я сказала им: знайте, вот каковы мои начала; теперь выскажите свои жалобы; где башмак жмет вам ногу? Мы постараемся это поправить; у меня нет системы, я желаю только общего блага». Оставаясь верной раз поставленным

задачам, она не держалась педантически однообразных приемов действия, умозрительно рассчитанных и не согласованных с наличными условиями дела. Она вообще не принадлежала к числу людей, готовых во имя порядка ввести анархию, и не хотела своему правоверию старообрядчески жертвовать самою верой. Такой выбор приемов показывает, что из политической философии путем ее изучения Екатерина извлекла больше политики, чем философии. Этот выбор облегчался уменьем Екатерины смотреть в глаза действительности прямо и просто и даже находить в своем юморе утешение при виде неустранимых зол. «Меня обворовывают точно так же, как и других, но это хороший знак и показывает, что есть что воровать», – писала она г-же Бьелке в 1775 г. Притом, слабо чувствуя на себе давление местных обычаев и преданий как пришедшая из другого мира, она была свободнее в выборе способов действия и установке своих отношений, и ей было легче, чем Марии-Терезии или Георгу III, подшучивать над китайскими людьми, которые, по ее довольно наглядному уподоблению, всегда сидят по уши в своих обычаях и преданиях и не могут высморкаться, не справляясь с ними.

Она не отказывалась от такой же свободы действия и в своих отношениях к сотрудникам. Она ценила их заслуги, это было одним из основных ее правил. «Кто не уважает заслуги, – писала она в одной из ранних своих записок, – тот сам их не имеет; кто не старается отыскать заслугу и не открывает ее, тот не достоин и не способен царствовать». К такому энергическому признанию заслуги обязывало Екатерину и особенное значение людей с заслугами для того порядка, какой она считала необходимым для России и в ней поддерживала. Как самодержавная императрица она думала, что ход дел в государстве зависит не столько от его устройства, сколько от его управителей. Негодуя на дурное ведение дел в современной ей Англии при конституции, считавшейся лучшею в Европе, она писала: «Вот что значат мальчишки; но прежде дела шли иначе, стало быть, не формы, а деятели виноваты». Однако не видно, чтоб Екатерина усиленно искала талантов. «Когда мне в молодости, – признавалась она, – случалось встретить умного человека, во мне тотчас рождалось горячее желание видеть его употребленным ко благу страны». Но с летами она стала относиться к этому хладнокровнее и даже считала возможным обойтись без поисков за дарованиями, хотя и любила и умела пользоваться попадавшимися под руку. Она не боялась и не чуждалась людей даровитых, но считала неспособных более удобными сотрудниками. «Бог. ам свидетель, что мы, круглые невежды, не имеем никакой особенной

склонности к дуракам на высоких местах». Но, думала она, нельзя же отыскивать людей по картинке, по своему фасону или идеалу, да и нет нужды в таких поисках. Нужные люди всегда найдутся, когда понадобится. «Всякая страна способна доставлять людей, необходимых для дела. Я никогда не искала и всегда находила под рукою людей, которые мне служили, и большею частью служили хорошо». Екатерина относилась к способным людям точно так же, как к собственным способностям: нет таких людей вокруг, надо их сделать из тех, какие есть. Значит, дело не в том, чтоб искать людей, а в том, чтоб уметь пользоваться теми, кто под рукою, и искусство править в том, «чтобы со всякими людьми заставлять дела идти как можно лучше». Может быть, такой взгляд был лишь обобщением счастливой случайности: Екатерине посчастливилось при вступлении на престол среди всяких людей найти под рукой таких, с которыми можно было вести дела хорошо. Однако в начале царствования она однажды жаловалась французскому послу Бретейлю на неспособность своих министров, прибавив, что, к счастью, молодые люди подают ей утешительные надежды. Она начала царствовать с людьми елизаветинской школы, т. е. с самоучками: с Бестужевым-Рюминым, Шаховским, Шуваловым, Воронцовыми, Паниными, Голицыными, Румянцевым, Чернышевыми. Она нуждалась в них, они ей усердно служили, некоторые очень много для нее сделали; она их ценила, но не любила, втихомолку подсмеивалась над ними и постепенно почти со всеми разошлась. Она считала полезным обновлять правительственный персонал и любила новых людей, которых ставила подле старых или на их место, чтобы, по ее словам, мешать ржавчине останавливать колеса и пришпоривать бездарности. Может быть, за эту наклонность менять людей и приписывали ей правило, выражавшееся ею в известной поговорке о выжатом лимоне. Она хотела иметь своих людей, образовать свою школу из новых талантов, ею открытых. «Я не боюсь чужих достоинств, – говорила она, – напротив, желала бы иметь вокруг. ебя одних героев и все на свете употребляла, чтобы сделать героями тех, в ком видела малейшее к тому призвание». Но ей нелегко было найти таких людей вокруг. ебя. Вельможи, ее окружавшие, страдали не одним только тем недостатком, что, по свидетельству статс-секретаря Грибовского, за немногими исключениями, не умели правильно писать по-русски. Среди них скорее можно было найти приятных собеседников вроде обер-шталмейстера Л. Нарышкина или графа А. Строганова, чем дельцов. В этом кругу меркой способности к делам служила еще старая поговорка, слышанная Н. Паниным «у престола государева от людей, его окружающих», и записанная

им в одном докладе Екатерине: «Была бы милость, всякого на все станет». Но Екатерине уже нельзя было руководиться этою поговоркой в выборе своих сотрудников. Люди с крупными умственными и нравственными достоинствами, образованные и любившие горячо свое отечество, но скромные и прямые, подобные учителю математики при великом князе Павле Порошину, как-то плохо уживались при ее дворе, хотя в инструкции генерал-прокурору она и обещала опытами показать, что у двора честные люди живут благополучно. Оставалось выбирать из пособников в перевороте 28 июня или из людей, указанных Румянцевым, Салтыковым, Паниным, Потемкиным. Между ними оказывались люди деловитые и не без дарований, чаще с притязаниями вместо дарований, с честолюбием и воображением, решительно превозмогавшими их силы и всякую действительность, бойкие и смелые игроки в судьбу, легко перекраивавшие карту Европы, составлявшие планы разрушения существующих государств и восстановления когда-то существовавших, чертившие будущие границы Российской империи с шестью столицами (С.-Петербург, Москва, Берлин, Вена, Константинополь, Астрахань – по проекту Платона Зубова). Екатерина была очень доверчива и пристрастна к своим избранникам, преувеличивала их способности и свои надежды на них, ошибалась в первых и обманывалась в последних; но она пользовалась не только их силами, но и самыми слабостями, возбуждала их служебную ревность и соревнование друг. другом и со старыми дельцами, умеряла соперничество, не допуская его до открытой вражды. Осторожный и ленивый Н. Панин, с одной стороны, напевал ей одно, отважный и тоже ленивый Григорий Орлов, с другой – другое, противоположное, а она, по ее выражению, курц-галопом выступала между обоими вечно враждовавшими друг. другом советниками, и, несмотря на их вражду, «дела шли и шли большим ходом». Одним приемом она еще более усиливала исполнительную ревность своих сотрудников. В отношении к ним ей чаще удавалось принятое ею правило в проведении реформ: лучше подсказывать, чем приказывать. Хорошо изучив людей, она знала, кому какое дело поручить можно, и так осторожно внушала намеченному исполнителю свою мысль, что он принимал ее за свою собственную и тем с большим рвением исполнял ее. Поощряемые милостивым вниманием и возбуждаемые взаимным соперничеством, наперерыв один перед другим стараясь отличиться, эти люди, выхваченные наверх часто житейской случайностью с довольно глубокого низа, внесли в ход дела большое оживление, производили много шума и движения,

сделали немало и полезного, но при этом тратили страшно много средств. Они, конечно, произвели впечатление на современников: рассказы об екатерининских орлах долго не умолкали в русском обществе, и Карамзин только с ораторским преувеличением резюмировал эти рассказы, когда говорил в своем *«Похвальном слове»*, что «только во время Екатерины видели мы волшебные превращения нежных сибаритов в суровых чад Лакедемона, видели тысячи российских Альцибиадов». Но надежды, возложенные на молодежь в начале царствования, едва ли были оправданы; иначе великий князь Александр в упомянутом письме к Кочубею не написал бы о людях, занимавших высшие места в 1796 г., что он не желал бы иметь их у себя и лакеями. Суворов в счет идти не может: этот удивительный талант сложился и проявлялся так независимо и своеобразно, казался такою счастливой случайностью, что его трудно отнести к которой-либо школе, елизаветинской или екатерининской.

Впрочем, недостаток хороших дельцов не был самым большим затруднением, с которым приходилось бороться Екатерине. Гораздо труднее было сладить с программой деятельности, продиктованной положением Екатерины и настроением русского общества по вступлении ее на престол. Это была очень сложная и запутанная программа. Екатерина взяла свою власть, а не получила ее. Власть захваченная всегда имеет характер векселя, по которому ждут уплаты, а по настроению русского общества Екатерине предстояло оправдать разнообразные и несогласные ожидания. Новое правительство, созданное общественным движением против прежнего, конечно, должно было действовать наперекор ему. Прежнее правительство вооружило против себя общество пренебрежением к национальным интересам; новое правительство обязывалось действовать в национальном духе. Произвол прежнего правительства вызвал сильное возбуждение во всем обществе, даже в простом народе, и, по словам манифеста 6 июля 1762 г., не оставалось никого, «кто бы в голос с отвагою и без трепета не злословил государя». Роптали на новое иго немецкое, когда прусский посол Гольц правил Россией, а русский император, по словам прусского короля Фридриха II, служил Пруссии как ее министр. Не успели перемереть люди, пережившие бироновщину, и уж опять немцы, когда же этому будет конец? Пора русскую православную веру и русскую народную честь прочно оградить от таких испытаний. Новое правительство должно было разумно-либеральным образом действий рассеять впечатление испытанного самовластия, сдержать развязавшиеся языки и успокоить общество какими-либо гарантиями порядка и

приличия. Впереди негодовавшего общества стояла гвардия – привилегированное, самонадеянное и довольно распущенное войско, сделавшее уже несколько государственных переворотов, поставившее несколько правительств, и его принялись облекать «в обряды неудобь носимые», т. е. в прусские мундиры, муштровать по-прусски, обзывали янычарами, унижали перед голштинским сбродом и собирались гнать за границу на войну с Данией за какую-то там Голштинию. Кроме полковых, казарменных интересов, у этой гвардии были еще интересы сословные, деревенские. По своему составу она была тогда еще дворянским войском: в ней служил цвет сословия, ее настроение быстро распространялось по дворянским сельским усадьбам. У дворянства в это время возникали свои заботы. Оно было, наконец, уволено *вчистую*: законом 18 февраля 1762 г. его служба из государственной повинности превращена была в простое требование гражданского долга. Но с обязательною службой тесно связано было, как следствие с причиной, владение крепостными людьми. Сословие смутно почувствовало приближение кризиса в своем положении и зарождение тревожного вопроса: что же станется с их имениями, державшимися на крепостном труде? Что станут делать они сами, вольные дворяне, без службы? Еще живее почувствовали крестьяне, что с отменою обязательной службы их господ в крепостном праве весы общественной правды наклонились в одну сторону: со времени издания закона 18 февраля усиливаются крестьянские волнения.

Перед этими столь разнообразно взволнованными умами стала Екатерина со своей революционной по происхождению властью и со своими либеральными идеями. Эти умы были уже несколько подготовлены, если не прямо к этим новым идеям, то вообще к новизнам в мышлении, как и в жизни. Подготовка началась с самой половины того века. Во-первых, Семилетняя война дала русским офицерам-дворянам не одни лавры, но и хозяйственные уроки. Участник войны Болотов уверяет в своих записках, что все лучшее служившее тогда в армии российское дворянство, насмотревшись в немецких землях всей тамошней экономии и порядков и получив потом в силу благодетельного манифеста о вольности увольнение от военной службы, «в состоянии было всю свою прежнюю весьма недостаточную деревенскую экономию привести в несравненно лучшее состояние». Притом с того же времени в русском обществе пробуждаются литературные и эстетические вкусы, развивается охота к чтению, к романам, романсам, музыке, к занятиям, питающим чувства, а чувства – предтечи идей. А в крестьянской

среде бродили уже и самые идеи: на другой год царствования Екатерины в народе пущен был подложный указ императрицы с обвинением дворянства в том, что оно весьма пренебрегает закон божий и «государственные правы».

Так перед Екатериной встречались, сталкивались и пересекались довольно разносторонние, даже противоположные, течения, интересы и настроения: оскорбленное чувство национального достоинства, «великое роптание на образ правления последних годов», гвардейские притязания, дворянские помыслы о новых поприщах деятельности и страхи за старые права, крестьянские ожидания, наконец, ее собственные идеи и мечты, благоприятные для одних и тревожные для других, но непривычные для всех умов. Екатерине предстояло действовать популярно, либерально и осторожно и в преобразовательном и в охранительном направлении, щадить одни сословные интересы и охранять другие, им враждебные, но самой стоять выше тех и других, ставя впереди всех интересы всенародные, согласно с основным правилом, неоднократно ею высказанным: «Боже избави играть печальную роль вождя партии, – напротив, следует постоянно стараться приобрести расположение всех подданных». Сверх всего этого, необходимо было предупреждать попытки недовольных в гвардии повторить соблазнительное по успеху дело 28 июня во имя другого лица, пресекать «дешперальные и безрассудные coups», как она выражалась. Очевидно, программа Екатерины была довольно сложна и несвободна от противоречий. Она попыталась примирить их по указаниям своего опыта и наблюдения и по соображениям своей гибкой мысли. Находя невозможным ни согласить столь различные задачи, ни пожертвовать одними в пользу других, она разделила их, т. е. каждую задачу проводила в особой сфере правительственной деятельности. Дан был большой ход внешней политике посредством усиленного действия на нее национальных чувств и интересов. Чтобы занять праздное дворянство и определить его новое положение в государстве и обществе, предпринята была широкая реформа областного управления и суда. Наконец, отведена была своя область и новым идеям: на них строилась проектированная система русского законодательства, они проводились как принципы в отдельных узаконениях, вводились в ежедневный оборот мнений как стимулы умов и нравственные регулятивы общежития, были допущены в литературу и даже в школу как образовательное средство и как архитектурное украшение правительственного производства. Но при законодательной, литературной и педагогической пропаганде новых идей Екатерина не трогала

исторически сложившихся основ русского государственного строя, предоставляя самим идеям века перерабатывать порядки места. Так распланировалось исполнение программы.

Екатерине нужны были громкие дела, крупные, для всех очевидные успехи, чтобы оправдать свое воцарение и заслужить любовь подданных, для приобретения которой она, по ее признанию, ничем не пренебрегала. Внешняя политика представлялась для того наиболее удобным полем действия при внутренних средствах России и при том положении, какое она заняла в Европе по окончании Семилетней войны. Екатерина старалась поднять и укрепить его с двух сторон, настраивая умы и импонируя на кабинеты. Корифеи европейской мысли, с которыми она вела такие дружеские сношения, располагали общественное мнение Европы в пользу России, распространяя о ней благоприятные сведения, разбивая предубеждение. Но иностранные дипломаты уже в самом начале царствования жаловались на гордый и высокомерный тон Екатерины во внешних делах, который нравился ее подданным. «У меня лучшая армия в целом мире, – говорила она Бретейлю в 1763 г., – у меня есть деньги, а через несколько лет у меня будет много денег». Опираясь на эти средства, Екатерина смело приступила к решению обоих стоявших на очереди вопросов внешней политики, давних и трудных вопросов, из которых один состоял в необходимости продвинуть южную границу России до Черного моря, а другой – в воссоединении Западной Руси. Известно, как вела Екатерина оба этих главных дела своей внешней политики.

Можно различно судить – и судили различно – о приемах и результатах этой политики, но впечатление, произведенное ею на русское общество, едва ли подлежит спору. С. Т. Аксаков помнил из своего детства, как в его семье плакали при вести о смерти Екатерины и говорили, что в ее царствование соседи нас не обижали и наши солдаты при ней побеждали всех и прославились. Это был слабый отзвук, доносившийся до приуральской глуши от шумных внешних дел Екатерины. Людям, стоявшим под более близким действием ее военных и дипломатических успехов, результатом их представлялся небывалый подъем международного значения России. Успехи, достигнутые внешней политикой Петра I, почувствовались в России довольно скромно. Даже ближайшие сотрудники Петра и то считали уже громадным успехом, что они, русские люди, теперь «в общество политичных народов присовокуплены», как выразился канцлер Головкин в приветственной речи Петру по поводу заключения Ништадтского мира. Великая Северная война, которою Россия завоевала себе место в семье европейских держав,

самой продолжительностью и тяжестью своей ослабляла впечатление своих успехов. «Петр, выводя народ свой из невежества, ставил уже за великое и то, чтобы уравнять оный державам второго класса», и потому первым предметом своей политики почитал какое-нибудь приобретение в Германии, подготовлял присоединение Голштинии к России, чтобы иметь голос в европейском концерте не в качестве русского царя, а по положению голштинского члена германского корпуса. О собственном абсолютном весе России он еще и не помышлял. Его взгляда держалось русское правительство и после него, несмотря на очевидный рост силы и влияния России. Так изображал международное положение России со времени Петра I до Екатерины II руководитель ее внешней политики Н. Панин, хорошо знавший политическую историю Европы своего века. Международная улица России по-прежнему оставалась тесна, ограничиваясь шведскими и польскими тревогами да турецко-татарскими опасностями: Швеция помышляла об отместке и начиналась недалеко за Петербургом; Польша стояла на Днепре; ни одного русского корабля не было на Черном море; по северному побережью его господствовали турки и татары, отнимая у России южную степь и грозя ей разбойничьими набегами. Тяжелое чувство учеников, во всем отставших от своих западных учителей, еще более удручало национальный дух. Прошло 34 года царствования Екатерины, и Польши не существовало, южная степь превратилась в Новороссию, Крым стал русскою областью, между Днепром и Днестром не осталось и пяди турецкой земли, контрадмирал Ушаков с черноморским флотом, в 1791 г. дравшийся с турками недалеко от Константинополя, семь лет спустя вошел в Босфор защитником Турции, а в Швеции только душевно нездоровые люди, вроде короля Густава IV, продолжали думать об отместке. Международный горизонт России раздвинулся дальше ее новых пределов, и за ними открылись ослепительные перспективы, какие со времени Петра I едва ли представлялись самому воспаленному русскому глазу: взятие Константинополя, освобождение христианских народностей Балканского полуострова, разрушение Турции, восстановление Византийской империи. Держава второго класса стала считаться первою военною державой в Европе и даже, по признанию англичан, «морским государством, очень почтенным»; сам Фридрих II в 1770 г. называл ее страшным могуществом, от которого через полвека будет трепетать вся Европа, а князь Безбородко в конце своей дипломатической карьеры говорил молодым русским дипломатам: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна

пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела». Самого неповоротливого воображения не могли не тронуть такие ослепительные успехи. Но впечатление внешней политики заимствовало значительную долю своей силы от общественного возбуждения, вызванного ходом внутренних дел.

Политические идеи, усвоенные Екатериной, по источникам своим были последним словом западноевропейской политической мысли, плодом работы многих сильных умов над вопросами о происхождении и законах развития государств и об их нормальном устройстве. Результаты этой работы не были еще руководящими началами политической жизни народов, по крайней мере на европейском материке, оставались идеалами передовых умов, дожидаясь своего места в кодексах. Даже в том виде, как они изложены в *«Наказе»* Екатерины, они представляли, говоря словами Карамзина, ряд «высочайших умозрений», и сколько надобно было усилий, чтоб эту «тончайшую метафизику преобразить в устав гражданский, всем понятный!». Эти идеи, еще нигде практически не испытанные в своей совокупности, Екатерина хотела применить к устройству своего государства, переработать их в статьи нового русского уложения. Этот замысел мог. оказаться плодом «воспламененного воображения», какое приписывал Екатерине Фридрих II. И, однако, Екатерина признавала такой опыт возможным в России, отставшей от Европы во всех отношениях, имевшей, как писал тогда один английский посол из Петербурга, право на название образованного народа, одинаковое с Тибетским государством. У Екатерины были на [то] свои соображения. Она, во-первых, тогда еще крепко веровала в силу разума: будьте уверены, писала она в одной из своих ранних заметок, что разум возьмет верх в глазах толпы. Потом она считала себя со своими идеями особенно способной и расположенной действовать в стране, мало тронутой культурными влияниями и менее других зараженной историческими предрассудками. «Я люблю страны еще не возделанные, – писала она, – верьте мне, это лучшие страны. Я годна только в России; в других странах уже не найдешь священной природы: все столько же искажено, сколько чопорно». Россия представлялась ей благодарным полем для просветительной работы. «Я должна отдать справедливость своему народу, – писала она Вольтеру, – это превосходная почва, на которой хорошее семя быстро возрастает; но нам также нужны аксиомы, неоспоримо признанные за истинные». Этими аксиомами и были идеи, которые она задумала положить в основание нового русского законодательства. Да, наконец, и Россия – все же страна, не совсем уже чужая Европе, и Екатерина

строила свой преобразовательный план на силлогизме, в сжатом виде изложенном в начале 1 главы ее *«Наказа»*: Россия есть европейская держава; Петр I, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел такие удобства, каких и сам не ожидал. Заключение следовало само собой: аксиомы, представляющие последний и лучший плод европейской мысли, найдут в этом народе такие же удобства.

Но главным средством действия и надежным ручательством за успех была в руках Екатерины власть, которую она носила, та русская верховная власть, которую еще славянский публицист XVII в. Юрий Крижанич сравнивал с жезлом Моисеевым, способным выбить воду из камня, и силу которой Екатерина выражала по-своему в письме к Гримму, когда говорила о своих начинаниях, что все это еще пока на бумаге и в воображении, «но не полагайтесь на это: все это вырастает, как грибы, когда менее всего будут ожидать того». Екатерина поняла, что в просветительном движении эта власть может и должна стать в другое отношение к обществу, непохожее на то, какое существовало между обеими этими силами на Западе. Там общество через литературу поучало правительство; здесь правительство должно было направлять и литературу и общество. У вас, писала Екатерина Вольтеру, низшие научают, и высшим легко пользоваться этим наставлением; у нас – наоборот. Но, может быть, придворные рассказы и собственные наблюдения, собранные ею в России еще до воцарения, а вероятно, и чутье положения, как скоро она вошла во всю обстановку власти, внушили ей, что эта власть в своей прежней постановке, с теми средствами и приемами, какими она доселе пользовалась, не в состоянии взять на себя такого руководства. Здесь будет нелишним припомнить нечто из прошлого русской государственной власти.

Древняя Русь в своих политических верованиях, понятиях, общественных отношениях – во всем складе своего быта выработала очень обильный материал верховной власти, не *идеал*, а именно *материал*, которому московские государи по своим личным особенностям и по условиям своего положения придавали различные формы или физиономии: царь Иоанн Грозный – одну, царь Алексей – другую. Но во всяких руках древнерусская государственная власть пользовалась почти одинаковыми средствами действия на волю подвластных, за исключением церковной проповеди о *власти от бога*– проповеди, обращавшейся к совести верующего, – то были простейшие средства политической педагогики, стимулы, обращенные к элементарным инстинктам человека и первичным связям

общежития; к стимулам второго рода относились, например, ответственность родственников за преступника, наказание его жены и детей конфискацией его имущества. Петр Великий не выработал нового типа власти, но переработал старую власть, дав ей новые средства действия, научное знание, небывалую энергию, поставив ей новые задачи и расширив ее пределы, особенно на счет церковной власти. Важно то, что Петр пытался изменить самое обращение власти к подданным. Древнерусская государственная власть обращалась к своим подданным если не всегда как властелин к рабам-домочадцам, то как строгий отец к детям-малолеткам, приказывая исполнять, не рассуждая или дозволяя рассуждать только о способе исполнения, а не о смысле и надобности исполняемого. Петр сохранил за властью прежнюю строгую физиономию, но несколько смягчил ее обращение, тон речи; но едва ли не первый в своих указах заговорил с народом о самых основах государственного порядка, о добре общем, о пользе народной, об обязанностях, «долженствах» государя. В повелителе сказался правитель; из-за грозного указа блеснул примиряющий принцип; в голосе домовладыки послышалось признание зрелости домочадцев. Власть обращалась не с одними угрозами к неисправному или непослушному подданному, но и с доверием к здравому смыслу народа призывала его не только исполнять волю государя, но и рассуждать о необходимости ее исполнения для государства, о побуждениях, ею руководящих, а это уже призыв к некоторому участию в государственных делах, подготовка к политической самодеятельности, своего рода политическое воспитание. Петр расширил, зато и *заработал* свою власть, оправдав ее расширенные пределы, увенчав ее громадными успехами, стараясь уяснить ее народу не только как свое право, но и как его насущную потребность. Он и перешел в народную память как небывалый образ «царя, который даром хлеба не ел, пуще всякого мужика работал». Но этот образ, долженствовавший стать образцом, долго оставался одиноким, без подражателей. Ближайшие преемники и преемницы Петра не стеснили доставшейся им власти, но не были в состоянии оправдать ее, не понимали ни ее средств, ни задач, злоупотребляли первыми и забывали последние; некоторые, удерживая за собою эту власть, охотно слагали с себя бремя правления, лишь бы им оставили свободу предаваться своим удовольствиям. Скоро немцы, по выражению Винского, забившиеся, подобно однодневной мошке, в мельчайшие изгибы русского государственного тела, стали окружать и его голову. Бироновщина пронеслась над народом запоздалой татарщиной. С.-Петербург. з русской столицы, построенной преобразователем

на отвоеванной чужой земле, превращался в иностранную и враждебную колонию на русской земле. В оде Ломоносова на воцарение Екатерины II Петр Великий встает из гроба и, обозревая дела, приключившиеся в России с его смерти до этого воцарения, гневно восклицает: «На то ль воздвиг. град священный,/ Дабы врагами населенный/ Россиянам ужасен был?»

Власть из источника закона стала превращаться в его замену, т. е. в самовластие, а частые смены на престоле, которых в 17 лет после смерти Петра I случилось пять и в большинстве не по какому-либо закону или естественному порядку, а по обстоятельствам, мало понятным народу, имели вид политических приключений и сообщали сменявшимся правительствам характер случайностей. Все это при тогдашнем значении власти в России производило разрушительное действие на общественный порядок. Мощь государства, по-видимому, возрастала и ширилась, но личность принижалась и мельчала, так что некому было надлежащим образом оценить и прочувствовать государственные успехи. Общественная жизнь в руководящих кругах становилась вялой и распущенной. Придворные интриги заменяли политику, великосветские скандалы составляли новости дня. Умственные интересы гасли в жажде милостей и увеселений. Наиболее ощутительные успехи культуры и общежития, отмеченные современниками, обозначились при Екатерине I усиленною выпиской дорогих уборов из-за границы, при Анне – появлением бургонского и шампанского на знатных столах, при Елизавете – учащением разводов, введением английского пива женою канцлера Анной Карловной Воронцовой, английских контрдансов двумя великосветскими русскими барышнями, гостившими в Лондоне, и торжеством «весьма особливой философии», о которой писали в заграничные газеты из Москвы по случаю бывших здесь пожаров в 1754 г. во время пребывания здесь двора, – философии, «которая меньше нежели где инде сии приключения чувствительными делает, ибо не примечается, чтобы оные хотя малую отмену производили в склонности жителей к весельям; всякой день говорится только о комедиях, комических операх, интермеццах, балах и тому подобных забавах». Строгим наблюдателям казалось, что Россия не являла и признаков просвещения. Великосветское общество презирало все русское, науками пренебрегало, и даже канцлер граф Воронцов, по самой должности своей имевший ближайшее отношение к просвещенной Европе, в начале царствования Екатерины с негодованием писал о своей образованной и любознательной племяннице Е. Р. Дашковой, что она «имеет нрав развращенный и тщеславный, больше в науках и пустоте время

свое проводит».

Подобными же чертами и люди екатерининского времени любили изображать управление и высшее русское общество 1725–1762 гг., стоявшее у престола, дававшее власти наибольшее количество сановных слуг, служившее образцом для массы. Н. Панин в представленном Екатерине проекте Императорского совета прямо уподоблял правительственный порядок той эпохи «варварским временам, в которые не токмо установленного правительства, ниже письменных законов еще не бывало». В воспоминаниях о той эпохе только царствование императрицы Елизаветы осталось светлою полосой благодаря памяти ее отца, ее добросердечию и набожности и некоторым полезным законам. Ее любили в память отца при жизни и гораздо более жалели о ней по смерти – печальная услуга, оказанная ее памяти племянником-преемником. Но это впечатление относилось больше к лицу, чем к порядку. Старые бедствия устранялись, но новые блага чувствовались слабо. Временщики злые исчезли, но временщики не переводились. Общество было довольно покоем, но порядок ветшал и портился, не подновляемый и не довершаемый. Делам предоставляли идти, как они заведены были Петром Великим, мало думая о новых потребностях и условиях. Часы заводились, но не проверялись.

Власть без ясного сознания своих задач и пределов и с поколебленным авторитетом, с оскудевшими материальными и нравственными средствами, общественное мнение, питавшееся анекдотами и пересудами, без чувства личного и национального достоинства, весь порядок, державшийся страхом и произволом и направляемый, по выражению Н. Панина, «более силою персон, нежели властью мест государственных», при крайне низком уровне гражданского чувства и сознания общего интереса, без любви к отечеству, – в таких чертах можно представлять себе, по рассказам людей екатерининского времени, наследство, доставшееся Екатерине II от эпохи временщиков и случайных правительств.

Люди второй половины XVIII в., так гордившиеся своим превосходством перед отцами в образовании и общежитии, естественно, наклонны были лучше помнить темные, чем светлые, стороны ближайшего к ним прошлого. Эта наклонность могла быть сама по себе только благоприятна для Екатерины: о первых шагах ее по воцарении должны были судить по сравнению ее с ближайшими предшественниками. В этом отношении чего стоило одно царствование Петра III! После него надобно было *уметь* царствовать непопулярно. Но Екатерине нельзя было пользоваться властью по-прежнему. Прежде власть привыкла

искать самых надежных опор порядка в силе и угрозе, наиболее действительных народноисправительных средств – в наказаниях. Екатерине надобно было искать таких опор и средств совсем в другом порядке влияний, обратиться к другим народновоспитательным приемам, более тонким, чем кнут и ссылка, и более справедливым, чем конфискация. По своему происхождению и воспитанию, по своей судьбе, по своему образу мыслей, наконец, она была слишком нова для России, чтобы сразу войти в привычную туземную, исторически пробитую колею. Она сама это сознавала и в первый год царствования признавалась французскому послу Бретейлю, что ей нужны годы и годы, чтоб ее подданные привыкли к ней. Притом ей нужно было слишком многое оправдать в своем положении, чтобы предупредить попытки повторить против нее соблазнительное дело 28 июня. Властью, так приобретенной, как она была приобретена, нельзя было пользоваться втихомолку. Но было недостаточно и привычной беседы с народом в области уголовного права. Предстояло объясниться с обществом прямо, начистоту и даже ввести такое объяснение в обычный порядок управления, чтобы привести политику «в пристойную знатность пред публикою», как внушал Н. Панин. Словом, надобно было обратиться к умам и сердцам, а не к инстинктам. В цепи отношений, связующих власть с обществом, не было одного важного звена, которое Петр I пытался вставить, но которое после него не было закреплено и выпало. Это звено – народное убеждение, совместное дело власти и общества, слагающееся, с одной стороны, из сознания общего блага, с другой – из уменья внушить это сознание и уверить в своей решимости и способности удовлетворить потребностям, составляющим общее благо. Екатерина понимала, как важно для успеха правительственных мер согласить с ними народное разумение. Объясняя Вольтеру некоторые статьи своего *«Наказа»*, она писала, что единственное средство для законодателя заставить всех слушаться голоса разума, – это убедить, что его требования совпадают с основаниями общественного спокойствия, в котором все нуждаются и польза которого всякому понятна. Продолжая попытку Петра, Екатерина в эту сторону прежде всего направила свои усилия. Но, обращаясь к разуму народа, Екатерина будила в нем и чувства, которые способны были еще сильнее склонять умы на сторону законодателя.

Так предпринята была Екатериной достопамятная кампания, целью которой было завоевать народное доверие и сочувствие. Эта кампания велась выходами, поездками, разговорами, учащенным присутствием на заседаниях Сената, более всего

указами и манифестами. Начиная с манифестов 28 июня и 6 июля 1762 г. о воцарении при всяком удобном случае – в указах о взяточничестве, о разделении Сената на департаменты, в манифесте о заговорщиках, в рескриптах русским послам и губернаторам, даже в частных беседах – настойчиво заявлялось о происхождении нового правительства, о его намерениях и заботах, о том, как оно понимает свои задачи и свое отношение к народу. Прежде всего предстояло выяснить источники приобретенной власти. Новое правительство было горячо приветствовано общественным мнением, и общественное мнение было провозглашено законным политическим фактором, органом народного голоса, его приветствие, скрепленное присягой, формальным актом народного избрания. Манифест 28 июня гласил, что императрица *принуждена* была вступить на престол, побуждаемая опасностями, какими грозило всем верноподданным минувшее царствование, «а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное», потому престол принят «по всеобщему и единогласное наших верных подданных желанию и *прошению*», как было прибавлено в рескрипте о восшествии на престол русскому послу в Берлине для сообщения тамошнему двору. Бецкий простодушно думал, что 28 июня совершился привычный гвардейский переворот, которому он сам содействовал, подговаривая гвардейцев и разбрасывая деньги в народ, и потому считал себя главным его виновником. Раз, вторгнувшись к Екатерине, он на коленях умолял ее сказать, кому она считает себя обязанной своим воцарением. «Богу и избранию моих подданных», – был ответ, который поверг. ецкого в совершенное отчаяние, так что он начал было снимать с себя александровскую ленту, считая себя недостойным этого знака отличия при таком непризнании его заслуг. Так как перемена на престоле произведена была, по словам манифеста, для избавления отечества от опасности, какими грозило прежнее царствование, от потрясения православной веры, уничтожения русской славы и чести, ниспровержения внутренних порядков и даже «от неизбежной почти опасности империи сей разрушения», как выразился в одном документе сенатор А. П. Бестужев-Рюмин, то на медалях в память коронации Екатерины была сделана надпись: «За спасение веры и отечества». Церковные проповедники, особенно архиепископ новгородский Димитрий Сеченов, первый член святейшего синода, еще смелее и восторженнее провозглашали Екатерину защитницей веры, благочестия и отечества, восстановительницей чести и достоинства своих подданных, «всех скорбей и печалей наших окончанием» и признавали событие 28 июня делом божиим,

чудным строением не человеческого ума и силы, но божиих несказанных судеб и его премудрого совета. «Будут чудо сие восклицать проповедники, говорил в коронационном слове архиепископ Димитрий, напишут в книгах историки, прочтут с охотою ученые, послушают в сладость некнижные, будут и последние роды повествовать чадам своим и прославлять величие божие». Екатерина, разумеется, охотно усвоила взгляд церковных проповедников на дело 28 июня и думала увековечить его в законодательстве как достопамятный исторический факт: в сохранившемся собственноручном черновом проекте манифеста о престолонаследии она писала, что чудный промысел всевышнего «вручил нам самодержавство сей империи образом, человеческим предвидением непостижимым».

На восторженные приветствия Екатерина отвечала решительным осуждением павшего правительства и заявлением широкой программы и совершенно нового направления начавшегося царствования. В манифестах и указах читали о вреде самовластия и гибельных следствиях, какие от самовольного, необузданного и никакому человеческому суду не подлежащего властителя произойти не могут. С высоты престола пред богом целому свету сказывалось, «что от руки божией прияли всероссийский престол не на свое собственное удовольствие, но на расширение славы его и на учреждение доброго порядка и утверждение правосудия в любезном нашем отечестве», заявлялось правило неоспоримое, что тогда только обладатели государств прямо наслаждаются спокойствием, когда видят, что подвластный им народ не изнурен от разных приключений, а особливо от поставленных над ним начальников и правителей, возвещалось искреннее и нелицемерное желание прямым делом доказать, «сколь мы хотим быть достойны любви нашего народа, для которого признаваем себя быть возведенными на престол», и наиторжественнейше обещались императорским словом государственные учреждения прочные, на законах основанные, и выражалось упование предохранить этим целость империи и самодержавной власти, «*бывшим несчастием* несколько испроверженную, а прямых верноусердствующих своему отечеству вывести из уныния и оскорбления». И все это с уверениями в ежедневном материнском «о добре общем» попечении. Власть была достигнута переворотом не во имя права, не лицом династии, неправильно устраненным, как при воцарении Елизаветы, была захватом, а не возвратом права. Казалось бы, такой акт нуждался в оправдании, с ним надобно было как-нибудь примирить общество. Екатерина не делает ни того, ни другого: оправдывать приобретенную власть значило бы

напрашиваться на сомнение в правильности ее приобретения; стараться примирить с ней общество значило бы заискивать у противников, выпрашивать у них то, что уже было взято, наводить на мысль о ненужности случившегося, в том и другом случае ронять авторитет власти.

«Наказ» был систематическим изложением начал, которые заявлялись в манифестах и указах первых лет, приступом к исполнению наиторжественнейшего обещания, данного в манифесте 6 июля 1762 г., установить государственные учреждения, в которых управление шло бы по точным и постоянным законам. Многое в нем по новизне предметов могло показаться большинству читателей невразумительным, иное-неожиданным. Сам автор предвидел, что некоторые, прочитав *«Наказ»*, скажут: не всяк его поймет. Непривычным к политическому размышлению умам нелегко было усвоить и объединить четыре определения политической свободы, одно отрицательное и три положительных. Государственная вольность по *«Наказу»*: 1) не в том состоит, чтобы делать все, что кому угодно, 2) состоит в возможности делать то, чего каждому надлежит хотеть, и в отсутствии принуждения делать то, чего хотеть не должно, 3) она есть право все то делать, что законы дозволяют, и 4) есть спокойствие духа в гражданине, происходящее от уверенности в своей безопасности. Русские умы впервые призывались рассуждать о государственной вольности, о веротерпимости, о вреде пытки, об ограничении конфискаций, о равенстве граждан, о самом понятии *гражданина* – о предметах, о которых рассуждать дотоле не считалось делом простых людей, – а те, чье это было дело, рассуждали о том очень мало. Всего более должны были поразить русского читателя те статьи *«Наказа»*, где власть определяет самое себя, свое назначение и отношение к подданным. Слова сами по себе не могут составлять преступления по оскорблению величества; в самодержавии благополучие правления состоит отчасти в кротком и снисходительном правлении; великое несчастье для государства, когда никто не смеет свободно высказывать своего мнения; есть случаи, где власть должна ограничивать себя пределами, ею же самою себе положенными; лучше, чтобы государь только ободрял и одни законы угрожали; самодержавство разрушается, когда государь свои мечты ставит выше законов; льстецы твердят владыкам, что народы для них сотворены, «но мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа, и по сей причине мы обязаны говорить о вещах так, как они быть должны».

«Никогда еще монархи не говорили с подданными таким

пленительным, трогательным языком», – восклицал Карамзин в своем *«Похвальном слове»*, воспроизводя впечатление первых русских читателей *«Наказа»*. И сама власть, кажется, никогда еще не принимала в России такого облика и не становилась в такое отношение к обществу, как в екатерининских указах первых лет и в этом *«Наказе»*. Она привыкла только требовать жертв от народа; теперь она за славу себе вменяла жертвовать собой для народа. Общее благо, прежде поглощаемое властью, теперь в ней олицетворялось. Она непосредственно обращалась к народу или с признаниями в принимаемых на себя обязанностях, или с проповедью новых руководящих ею начал и понятий. Ее указы – чаще изложение оснований общежития, уроки политического благонравия или обличения чиновничьих и общественных пороков, чем повелительные законы: они, говоря тогдашним языком, больше просвещают умы и наклоняют волю к добру, чем предписывают действия или устанавливают отношения. Общее благо состоит в том-то и том-то, у нас то и это не в порядке, я денно-ночно пекусь об общем благе, каждый гражданин да разумеет, как подобает ему поступать в видах общего блага, – таков смысл и тон этих указов и манифестов. О полицейских предостережениях, о взысканиях за неисполнение упоминается как бы мимоходом, неохотно; разум и совесть призываются на место судьи и судебного пристава. Законодатель обращался к подданным не как к будущим преступникам, а как к настоящим гражданам и как бы говорил им: государство в вас самих и в ваших домах, а не в казармах или канцеляриях, в ваших мыслях, чувствах и отношениях. Предполагалось перевоспитать государевых холопов в граждан государства, и в воспитательных уроках с ними обходились уже как с благовоспитанными гражданами. Потому знать мнение «публики» считалось полезным для правительства: в 1766 г. Екатерина приказала Сенату обсудить, не лучше ли новое положение о дворянских банках напечатать в виде проекта за полгода до введения его в действие, чтобы желающие могли сообщить поправки и дополнения, даже не подписывая своих имен.

Когда люди, мнением которых мы дорожим, отказывают нам в достоинствах, которые у нас есть, мы обыкновенно падаем духом, как будто потеряли их, а когда приписывают нам достоинства, каких мы в себе не подозревали, мы ободряемся и стараемся приобрести их. Когда с людьми, привыкшими к рабьему уничижению перед властью, эта власть заговорила, как с гражданами, как с народом свободным, в них как бы в оправдание оказанной им чести стали вскрываться чувства и понятия, дотоле прятавшиеся или дремавшие. Началось это сверху, с ближайшего

окружения власти, и, расширяясь, разрослось в устойчивое общественное настроение. Когда Сенат благодарил императрицу Елизавету за отмену внутренних таможен, она отвечала, что за удовольствие поставлять себе будет «авантажи своих подданных собственным своим предпочитать». Итак, собственные авантажи торжественно отделены от государственных или народных. Согласно с таким разделением Елизавета под конец жизни, а после нее и Петр III усиленно копили деньги и казенные доходы удерживали у себя, ничего или почти ничего не отпуская на государственные нужды, так что редко кто из служащих получал жалованье. Когда у них просили деньги на государственные потребности, они сердились и отвечали: «Доставайте, где знаете, а эти прибереженные деньги наши». Во время пожара в Лефортовских палатах в 1754 г. вытаскивали и поставленные там сундуки императрицы Елизаветы с серебряною монетой; у многих из них не оказалось дна, и пришлось штыками отгонять народ, хвативший рассыпанные по земле деньги. В первые дни царствования Екатерины II, когда ей доложили о крайней нужде в деньгах и о том, что русская армия в Пруссии уже восемь месяцев не получала жалованья, императрица в полном собрании Сената объявила, что, принадлежа сама государству, она считает и все ей принадлежащее собственностью государства и чтобы впредь не было никакого различия между интересом государственным и ее собственным, и приказала выдать из своих комнатных денег. колько было надобно на государственные нужды. У всех сенаторов выступили на глазах слезы; все собрание встало и в один голос благодарило императрицу за такой великодушный образ мыслей. Так рассказывала сама Екатерина. Сенат как главный орган власти и руководитель управления первый должен был воспринять и сообщить подведомственным местам новое направление: восставая против пытки, ему приказывала Екатерина преступников обращать к чистому признанию больше милосердием и увещанием, нежели строгостью и истязанием, вести дела без отягощения народного, без новых налогов, покрывая новые расходы «Другими, благопристойнейшими способами»; генерал-прокурору Сената в секретнейшем наставлении ставилось на вид, что в высшем управлении «одна лишь форма канцелярская исполняется, а думать еще иные и ныне прямо не смеют, хотя в том и интерес государственный страждет», а губернаторам настойчиво предписывалось утесненных людей защищать. Простые люди, до которых не доходили такие предписания или которым не все было понятно в манифестах, постигали дух и направление нового правительства по слухам об ограничении пытки и конфискаций, по

распоряжениям против монополий и взяточничества, по указам о свободе торговли и удешевлении соли, о производстве подушной переписи без разорительных воинских команд, по отмене задержек на городских заставах и других мелких стеснений, устранение которых, однако, значительно облегчало общежитие и давало всем чувствовать, что башмак меньше прежнего жмет ногу.

«Все души успокоились, все лица оживились», – говорит Карамзин, воспроизводя настроение, постепенно складывавшееся в обществе из всех этих столь непривычных впечатлений, какие оно тогда переживало. Это настроение восторженно выражалось при народных встречах Екатерины, особенно во время ее путешествия по Волге в 1767 г. Екатерина писала с дороги, что даже «иноплеменников», т. е. дипломатический корпус, ее сопровождавший, не раз прошибали слезы при виде народной радости, с какой ее встречали, а в Костроме граф Чернышев весь парадный обед проплакал, растроганный «благочинным и ласковым обхождением» местного дворянства, что в Казани готовы были постелить себя вместо ковра под ее ноги, а в одном месте в церкви мужики принялись свечи подавать, прося поставить их перед матушкой-царицей: это простонародный волжский ответ парижским философам, величавшим Екатерину царскосельской Минервой. Чтение *«Наказа»* в Комиссии 1767 г. депутаты слушали с восхищением, многие плакали, особенно от слов 520-й статьи: «Боже сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ на земли; намерение законов наших было бы не исполнено– несчастие, до которого я дожить не желаю». Плакали при встречах императрицы, при чтении ее манифестов и *«Наказа»*, плакали за парадными обедами в ее присутствии, плакали от радости при мысли, что бироновское прошлое уже не вернется; никогда, кажется, не было пролито в России столько радостных политических слез, как в первые годы царствования Екатерины II.

В этих слезах было много серьезного: сквозь них проступал новый взгляд общества на власть и на свое отношение к ней. Из грозной силы, готовой только карать, о которой страшно было говорить и думать, власть превращалась в благодетельное, попечительное существо, о котором не могли наговориться, которым не умели нахвалиться. Эта политическая чувствительность постепенно приподнимала людей, наполняя их смутным ощущением наступающего благополучия. Эта приподнятость особенно выразительно сказалась в Комиссии 1767 г. Собрано было со всего государства свыше 550

представителей самых разнообразных вер, наречий, племен, состояний, умоначертаний, от высокообразованного представителя святейшего синода митрополита Новгородского Димитрия до депутата служилых мещеряков Исетской провинции муллы Абдуллы мурзы Тавышева и до самоедов-язычников, которые, как им ни толковали в Комиссии, никак не могли понять, что такое закон и для чего это людям понадобились законы, – всероссийская этнографическая выставка, представлявшая своим составом живые образчики едва ли не всех пройденных человечеством ступеней культуры. Депутаты призваны были со своими местными «нуждами и недостатками» для «трудного и кропотливого дела – составления кодекса законов, соглашенных с этими нуждами и недостатками». Вступая в Комиссию, депутаты присягали по однообразной формуле, клятвенно обещаясь начать и окончить великое дело «в правилах богоугодных, человеколюбие вселяющих и добронравие к сохранению блаженства и спокойствия *рода человеческого*». На первом же шагу депутат переносился со своими низменными местными нуждами в область высоких идеалов человечества. При открытии Комиссии вице-канцлер в речи от имени императрицы призывал депутатов воспользоваться случаем прославить себя и свой век и приобрести благодарность будущих веков, порадеть об общем добре, о блаженстве рода человеческого и своих любезных сограждан. «От вас ожидают примера все подсолнечные народы, – говорил он, – очи всех на вас обращены». А недели через две маршал Комиссии Бибиков поднял тон еще октавою выше, в речи самой Екатерине говорил уже, что «во всеобщем благополучии мы первенствуем», и, поднося ей от Комиссии титул *матери отечества*, прибавлял, что весь род человеческий долженствовал бы предстать здесь и принести ей титул *матери народов*. Позднее подобные фразы стали стереотипами, заменявшими чувства; тогда они впервые отливались из наличных чувств или вливали такие чувства в раскрытые сердца. Точно подхваченные воздушным шаром, депутаты со своими руководителями отрывались от своих родных уездных и даже российских видов, и с захватывающей дух высоты им открывались необъятно широкие кругозоры, виднелись будущие века, народы, весь род человеческий. Все это немного ходульно и театрально, но во всем этом выражалась простая любовь к отечеству и сказывалась непривычка выражать просто внушаемые ею чувства национального достоинства и патриотической гордости по новизне ли самых этих чувств или по недостатку случаев выражать их. Да, наконец, театральная маршировка все же приучает не умеющих хорошенько ходить к приличной походке.

Но гордость отечеством обязывает быть достойным его сыном; без того она бахвальство и ничего более. Надобно быть справедливыми к людям екатерининского времени: они остереглись одной опасности, какою грозит народная гордость, не поддались искушению приподняться на цыпочки, чтобы прибавить себе росту. Подъем духа сопровождался у них возбуждением умов, которое помешало им принять самомнение за национальное самосознание. Почувствовав важное значение своего отечества, они спешили хорошенько осмотреть себя, чтобы видеть, приготовлены ли они к выступлению на большую сцену. Они умели заметить и имели добросовестность сознаться, что не могут еще появиться в европейском свете так, как того требует достоинство их отечества, что величие и могущество империи, о чем Екатерина твердила иностранцам, опираются собственно на силы народной массы, а они, образованные и руководящие классы, обязанные выражать разум своего народа, еще не в состоянии стать достойными его выразителями. В этом сознании источник той горячей энергии, с какою заговорила при Екатерине журнальная и театральная сатира, по-видимому, так мало подходившая к блеску и успехам той эпохи. Самообличение было прямым следствием разумно направленного патриотического чувства: из любви к отечеству обличали себя, недостойных сынов его. Эта сатира не подняла заметно уровня жизни: частные и общественные недостатки и пороки остались на своих местах, но они были обличены и сознаны, т. е. стали менее заразительны, а это подавало надежду, что дети не все унаследуют от своих неисправимых отцов. Зато мысль необычайно оживилась, особенно благодаря «свободоязычию», простору, какой давала ей в литературе Екатерина, сама принимавшая деятельное участие в этом литературном движении. Обличая отечественные недуги, мыслящие люди того времени много передумали, и притом о таких предметах, что самая наклонность размышлять о них есть уже признак значительного подъема умов. В этом помогло им, конечно, влияние просветительной литературы. Из записок Порошина и Винского видим, что в людях образованных и даже полуобразованных это влияние возбуждало интерес к политике и морали, к изучению устройства государств и состава людских обществ. Порошин, преподаватель математики при великом князе Павле, разговаривал со своим учеником о сочинениях Монтескье и Гельвеция, о необходимости читать их для просвещения разума, приготовлял для великого князя книгу *«Государственный механизм»*, в которой «хотел показать разные части, коими движется государство, изъяснить, например, сколько надобен солдат, сколько земледелец, сколько купец и пр. и какою кто

долею споспешествует всеобщему благоденствию, что не может государство быть никоим образом благополучно, когда один какой чин процветает, а прочие в пренебрежении». Надобно много и много жалеть, что одному из образованнейших и благороднейших русских людей XVIII в. не удалось написать задуманного им сочинения, которое могло бы послужить прекрасным показателем роста русской политической мысли в том веке. Образованным людям екатерининского времени и принадлежит заслуга возбуждения целого ряда важных вопросов, над которыми много работала мысль дальнейших поколений: об отношении России к Западной Европе, об отношении новой России к древней, об изучении национального характера, о согласовании национального с общечеловеческим, самобытного народного развития с необходимостью подражать опередившим народам. Под влиянием непривычной работы мысли над вопросами морали, политики и общежития законодательный и литературный язык получил философско-моралистическую окраску, запестрел отвлеченной терминологией академического красноречия, выражающей нравственные основы и связи общежития. Пошли в ход слова *«добронравие»*, или *«благонравие», «человечество», «человеколюбие», «попечение о благе общем», «блаженство общее и частное», «отечество», «граждане»*, или *«сограждане», «чувствительность», «чувствования человеческого сердца», «добродетельные души»* и т. п. Таким языком блестит и изданный 8 апреля 1782 г. *Устав благочиния*, или *Полицейский*, где в «правилах добронравия» читаем такие статьи закона: «Не чини ближнему, чего сам терпеть не хочешь; в добром помогите друг. ругу, веди слепого, дай кровлю не имеющему, напой жаждущего»; в «правилах обязательств общественных» изображено: «Муж да прилепится к своей жене в согласии и любви, уважая, защищая и извиняя ее недостатки, облегчая ее немощи», а в числе требуемых от определенного к благочинию начальства поставлены *«здравый рассудок, человеколюбие и усердие к общему труду»*. Особенно любимыми стали слова *«общество»* и *«род человеческий»*. В 1768 г. граф Разумовский, благодаря Екатерину от имени Сената, присутственных мест и всего народа за пробное привитие оспы себе и сыну для примера подданным, говорил даже о «роде человеческом обоего пола», а по *Учреждению для управления губерний* 1775 г. земский исправник обязан отправлять свою должность «с доброхотством и человеколюбием к народу» и в случае эпидемии стараться «о излечении и сохранении человеческого рода». В памятниках XVII в., когда русский народ был разбит на множество мелких служилых и тяглых разрядов, или *чинов*, с особыми

обязанностями, без общих дел и интересов, изредка мелькает выражение *«общество христианское»*, ибо религия оставалась наиболее крепкой нравственной связью общежития. При Екатерине встречаем уже «российское общество»; Сенат в докладе императрице говорит об «обществе всех верноподданных», в жалованных грамотах 1785 г. установляются термины: *«дворянское общество», «общество градское»*, а в депутатских наказах 1767 г. находим даже ходатайство «о выборе судей всем обществом всего уезда» как всесословной земской корпорацией. Так идея солидарности постепенно охватывала общественные слои, между которыми прежде не чувствовалось единения. В этом новом языке нет недостатка в красивых словах и неясных понятиях. Хорошие слова, став ходячими, в непривычном обществе скоро изнашиваются, теряют смысл, так что, произнося их, «человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует», как говорил Стародум в «Недоросле». Такие слова не оказывали прямого действия на нравы и поступки, на подъем жизни, но, украшая речь, приучали мысль к опрятности, заставляли ее держаться выше эгоизма и инстинкта, произвол личного понимания подчиняли требованиям общественного приличия. С этой стороны можно придавать народно-воспитательное значение указу 19 февраля 1786 г., предписавшему во всех деловых обращениях лиц к власти заменять слово «раб» словом «подданный». Хорошие слова часто, подобно костылям, поддерживают слабеющие мысли. Уж на что пылок был в защите сословных преимуществ дворянский депутат в Комиссии 1767 г. князь М. М. Щербатов, для которого сословное неравенство было своего рода политическим догматом, но и он в Комиссии оговаривался, что крепостные «суть равное нам создание», только «разность случаев возвела нас на степень властителей над ними». *«Наказ»* Екатерины иногда ссылается в своих положениях на закон христианский и закон естественный. Возражая на требование ограничения пытки и телесного наказания для одних только дворян, депутаты от городов, опираясь на те же законы – священный и естественный, которые «весьма не терпят лицеприятий», доказывали, что «вор – всегда вор, подлый он или благородный», и последнего, как человека просвещенного и знающего законы, следует наказывать даже строже, чем простолюдина, который часто совершает преступление по нужде или неведению. Да притом, прибавляли эти депутаты, по-своему становясь на точку зрения демократической монархии, в России от века монархическое, а не аристократическое правление, и «как подлый, так и благородный – все равно подданнейшие рабы всемилостивейшей государыни». Модные слова подсказывали

новые идеи, а идеи внушали дела, по крайней мере проекты дел. Одним из таких слов было тогда *просвещение*, о котором твердили и манифесты и журналы. В то время, когда свои и чужие наблюдатели уверяли, что русское дворянство считает невежество своим сословным правом (Винский), что цивилизовать его труднее, чем даже крестьян (Макартней), из среды этого культурно безнадежного класса посланы были в ту же Комиссию требования, чтобы при церквах учреждены были школы для крестьянских детей, «дабы знанием закона хотя мало поправить нравы их» (наказы копорского и ямбургского дворянства), чтобы церковные причты обучали крестьянских мужеска пола детей, «от чего впредь уповательно подлый народ просвещенный разум иметь будет» (наказ крапивенского дворянства). В 1764 г. архангелогородский гражданин В. Крестинин, определенный магистратом наблюдать за начальным обучением и потом издавший ряд дельных исторических сочинений о своей двинской родине, представил Сенату даже проект обязательного обучения с хорошо обдуманным планом малых школ, в которых обучались бы всякого чина и обоего пола дети в городе все без исключения.

Это пробуждение умов по призыву власти – едва ли не самый важный момент в росте впечатления, какое оставило после себя царствование Екатерины. По крайней мере в *«Фелице»* особенным движением отличаются известные стихи: «…Ты народу смело/ О всем и въявь и под рукой/ И знать, и мыслить позволяешь».

Люди бывают особенно довольны и счастливы, когда их признают умными и способными рассуждать о самых важных предметах, и искренно признательны к тем, кто им доставил такое счастье. А теперь власть не только позволяла, но и предписывала народу обо всем знать и мыслить и способность рассуждать о самых важных предметах ставила в число общественных обязанностей гражданина. Депутаты, призванные манифестом 14 декабря 1766 г., должны были и привезти с собой наказы от своих избирателей с изложением местных «общественных нужд и отягощений» и потом принять участие в трудах Комиссии по составлению проекта нового уложения. Таким образом, на местные общества возлагалась тяжелая задача не только обсудить свое положение, свои интересы и потребности, но и согласить их с положением и интересами всего государства, подняться на точку зрения высшей политики и даже «пройти со вниманием течение минувших времен и рачительно разыскать все причины, вредившие общему благоденствию и силе законов», как писал в своем циркуляре по поводу манифеста 14 декабря правитель Малороссии Румянцев. Словом, представители народа призывались к участию не в управлении, а в самом

устроении государственного порядка на новых началах. Никогда еще в нашей истории на народное представительство не возлагалось столь важное дело. Правда, вызывали в комиссию уложения выборных от дворянства при Петре II, выборных от дворянства и купечества при Елизавете, но в первом случае работа Комиссии состояла только в пополнении старого Уложения 1649 г., а во втором – выборные призывались, как и в 1648 г., для слушания уже готового проекта уложения, составленного правительственной Комиссией, а не для прямого участия в его составлении.

Известно, почему Комиссия 1767 г. не составила проекта нового Уложения и что в ней вскрылось. Депутатские наказы жаловались на отсутствие или непрочность первичных основ общежития и требовали, например, чтобы военные не били купечества и платили за забранные у него товары. Потом вскрылась непримиримая рознь сословных интересов: требовали исключительных привилегий, сословных монополий, и только в одном печальном желании разные классы общества дружно сошлись с дворянством – в желании иметь крепостных. Однако поверх всей этой неурядицы противоречивых понятий, взаимных сословных недоразумений, неслаженных или враждебных интересов, делавших невозможным составление стройного, справедливого и для всех безобидного уложения, откуда-то шло течение, которое несло семена будущего, лучшего порядка: оно проявлялось в требованиях издания закона «к приведению разного звания народа в содружество», всесословного участия в местном управлении, учреждения «кратких словесных судов», веротерпимости, учреждения академий, университетов, гимназий, городских и сельских школ и т. п. Это течение шло из общего возбуждения умов, начавшегося вместе с царствованием. Комиссия усилила его. Не все депутаты были люди «способнейшие и чистой совести», как требовал закон. Но они встретились в Комиссии с представителями высших правительственных учреждений и полтора года сидели плечо с плечом, присмотрелись друг. другу и сблизились, обменялись мыслями, напряженно обсуждая важнейшие вопросы общенародного блага и государственного благоустройства, памятуя призыв со стороны власти при открытии Комиссии: «Слава ваша в ваших руках». Вместе с этим призывом депутаты разнесли по всей России аксиомы, усвоенные из *«Наказа»*, и впечатления, вынесенные из этой совместной работы. Оставалось дать подходящее дело гражданскому чувству, столь живо возбужденному, и политическому сознанию, столь заботливо подготовленному. Но, когда через несколько бурных лет,

исполненных внешними и внутренними тревогами, в 1775 г. издано было *Учреждение для управления губерний*, призывавшее именно к такому делу, последовал отклик, не соответствовавший ни пробужденной энергии, ни возбужденным ожиданиям.

Тогда и после винили в этом известные недостатки губернских учреждений, «изящных на бумаге, но худо примененных к обстоятельствам России», по выражению Карамзина. Но в этих учреждениях блеснули две идеи, которые должны были привлечь к себе самое сочувственное отношение общества: это – участие выборных в местном управлении и суде, а в некоторых учреждениях, например в Приказе общественного призрения, совместное участие выборных от трех сословий: дворянства, городского и свободного сельского населения. Это последнее учреждение обещало быть особенно благотворным. Уже давно, приблизительно с половины XVII в., свободные классы русского общества, встречавшиеся для совместной деятельности на земских соборах и в некоторых местных учреждениях, начали расходиться, разделенные сословными правами и обязанностями, сословными интересами и предрассудками, и действовать одиноко, замыкаясь каждый в своем сословном кругу. Теперь власть призывала общество возобновить эту прерванную совместную деятельность на благодарном поприще народного образования и общественного призрения в особом всесословном учреждении, которое вместе с Совестным судом, подобно ему составленным. Учреждение называет «двумя источниками, навеки льющими благодеяние несчастным и бедствующим в роде человеческом и сопрягающими милость и суд воедино», и вслед за тем взывает: «Как можно, чтоб сердца подданных, в коих не угасли сродная жалость и любовь к ближнему, чувствами своими не были тут соподобны величайшему монаршему человеколюбию!» Однако сердца подданных, отвечая чувствами своими человеколюбию законодательницы, отнеслись к ее призыву небрежно, а по местам и неопрятно: уездные дворяне иногда совсем не являлись на съезды для выборов, так что предводитель оставался один, напрасно посылая нарочных за подгородными помещиками, и должен был прибегать к заочным назначениям; выборы производились нередко с явным пристрастием и наглой несправедливостью, по выражению современника Болотова; люди благонамеренные и образованные или устранялись от собраний, или были заглушаемы «благородной чернью» грубого и малограмотного деревенского дворянства, наполнявшего собрание, и эти собрания оставили в наблюдателях то общее впечатление, что там, «кроме нелепостей, ссор и споров о пустяках, никогда ни одно дельное дело не было

предлагаемо».

Новые учреждения, дав дворянству господствующее положение в местном обществе и управлении, чрезвычайно подняли дух дворянства, но мало улучшили самое управление. Это похоже на какую-то загадку, но она разрешается некоторыми особенностями екатерининского дворянского общества, представляющими немалый народно-психологический интерес.

В росте общественного настроения, какое складывалось в царствование Екатерины II преимущественно в дворянской среде, был тревожный момент, о котором потом не любили вспоминать люди екатерининского века и который потому сгладился в воспоминаниях их ближайших потомков. Этот момент падает на время между изданием манифеста 1762 г. о вольности дворянской и прекращением пугачевского мятежа 1774 г. С отменой обязательной службы, привязывавшей дворянство к столицам, начался или усилился отлив дворян в деревню, но этот отлив задерживался крестьянскими волнениями, побегами и связанными с ними разбоями, делавшими жизнь дворянина в деревне очень небезопасной. Между тем отмена обязательной службы сословия отнимала основное политическое оправдание у крепостного права, и обе стороны скоро почувствовали это, каждая по-своему: среди дворян это чувство выразилось в опасении, как бы вместе со службой не сняли с них и власти над крепостными, а среди крепостных – в ожидании, что справедливость требует и с них снять крепостную неволю, как сняли с дворян неволю служебную. Комиссия об Уложении усилила опасения одних и ожидание других. В народ проникали смутные слухи, что в *«Наказе»* императрицы сказано нечто и в пользу «рабов». Пошли толки о перемене законов, о возможности крестьянам выхлопотать кой-какие выгоды; появился фальшивый манифест за подписью Екатерины, в котором читали, что «весьма наше дворянство пренебрегает божий закон и государственные правы, правду всю изринули и из России вон выгнали, что российский народ осиротел». Эти толки и заставили Сенат запретить распространение *«Наказа»* в обществе. По распущении Комиссии среди гвардейских офицеров шли недовольные толки об унижении дворянства, о вольности крестьян и холопей, об их непослушании господам: «Как дадут крестьянам вольность, кто станет жить в деревнях? Мужики всех перебьют: и так ныне бьют до смерти и режут». И само правительство задавало себе вопрос, что делать с этим освобожденным от службы служилым сословием, чем занять его с пользой для государства? Граф Бестужев-Рюмин еще в 1763 г. в комиссии о дворянстве предлагал занять сословие деятельным участием в местном управлении,

образовав из него местные сословные корпорации, чтобы дворяне не пришли в «древнюю леность». Того же участия и корпоративного устройства потребовало и само дворянство в Комиссии 1767 г. Ему было дано то и другое. Но как оно поняло предоставленное ему право? Оно увидело в нем не новый вид государственного служения *всего* дворянства взамен прежней обязательной службы, а недостававшее ему хозяйственное удобство каждого отдельного дворянина. На выборных капитанов-исправников, уездных судей и заседателей нижних земских и верхних земских судов оно посмотрело, как на своих ответственных уполномоченных, обязанных охранять интересы каждого дворянина в присутственных местах и спокойствие в деревнях, т. е. перенесло на них привычное понятие о своих приказчиках и управляющих, которые должны отвечать перед ними, господами, но за которых они не отвечают перед государством. Такой взгляд проглядывает в дворянских наказах депутатам Комиссии, так смотрел на дело и сам сенатор и бывший канцлер граф Бестужев-Рюмин: по его проекту выборные дворянские ландраты должны были стать для избравшего их общества «во всем опекунами и ходатаями по судебным земским местам в причиняемых дворянам утеснениях и обидах».

Введение губернских учреждений только укрепляло такой взгляд дворянства на свое новое положение. Уже целых 10 лет до манифеста об этих учреждениях сословие находилось в возбужденном состоянии: современники говорят, что манифест 19 сентября 1765 г. о государственном межевании произвел во всем государстве великое потрясение умов и всех деревенских владельцев заставил непривычно много мыслить и хлопотать о своих земельных имуществах: все сельские умы были поглощены этим делом, и не было конца разговорам о нем. Владельцам вековых дедовских гнезд впервые пришлось подумать и привести себе на память, как, на каком основании и в каких пределах они владеют ими. Скачка без памяти по соседям, переговоры и споры, растерянные поиски забытых или затерявшихся документов, справки в межевых канцеляриях и конторах, хлопоты, как бы урвать казенной землицы при общем ее расхищении, взятки землемерам, плутни и захваты, ссоры и драки на меже, расспросы про невиданные и диковинные астролябию и румбы, смех и горе, – надобно читать рассказы Болотова про всю эту межевую суету и землевладельческую горячку, чтобы живо представить себе и юридическую беспомощность сословия, и весь хаос дворянского землевладения, и скромный уровень общественного порядка. Эти люди, еще недавно встряхнутые ужасами чумы и пугачевщины, теперь призывались к участию в местном

управлении. Новые наместничества открывались одно за другим в продолжение многих лет, поддерживая возбуждение умов, так что большую часть царствования дворянство жило ускоренным темпом. К торжественному открытию из усадебных углов съезжались в губернский или наместнический город все дворяне губернии с семействами, только что приходившие в себя от пережитых встрясок. Эти люди, среди праздной и малополезной для государства жизни представлявшие из себя «картину феодальных веков Европы», по выражению Карамзина, едва не забывшие отношений гражданина к государству, в торжественном собрании сословия слушали речь, в которой наместник со ступеней трона под портретом императрицы обращался к собравшимся, как к правящей корпорации, читали и толковали новое *Учреждение*, в котором видели исполнение обещаний первых манифестов и желаний, заявленных в их собственных наказах 1767 г., баллотировали своих предводителей, судей и заседателей, обедали у наместника, знакомились друг. другом, присутствовали на балах, маскарадах и спектаклях, нарочно для них устроенных, и с наставительным шепотом указывали своим семьям на изящных чиновных кавалеров, привезенных наместником из столицы, с французским языком, модными словами и манерами. Утомленные баллотировками, празднествами и новыми знакомствами, они возвращались в свои крепостные усадьбы с убеждением, что присутствовали при водворении крепкого порядка, которого не поколеблет уже никакая пугачевщина и в котором, что всего важнее, не осталось места для пугавших их воображение помыслов об осуществлении крестьянской «вольности мечты», и что теперь их усадебный сон вполне огражден от тревог. ыборными предводителями и исправниками. Любопытно, что эта уверенность сообщилась отчасти и крепостному населению. Впечатления, привезенные с открытия, обновлялись через каждое трехлетие на периодических дворянских собраниях, которые, укрепляя в дворянстве сознание своих великих государственных прав, особенно с издания жалованной грамоты 1785 г., вместе с тем приучали его к людскости и «благочинному обхождению». Люди, привыкшие в своих крепостных деревнях чувствовать себя единственными единицами, на дворянских собраниях, среди горячки белых шаров и выборных должностей, сменившей горячку межевых обходов и дешевых земельных покупок, учились впервые думать о пределах своей личности и понимать себе равных, ценить общественное мнение и сторониться перед встречным со своими деревенскими замашками. Все эти впечатления, разрастаясь и сливаясь, образовали среди дворян настроение, покоившееся на мысли, что

они, благочинные граждане благоустроенного общества, преимущественно перед прочими сословиями призваны проводить на своих собраниях благие намерения власти, внушенные высокими идеями века. Что же касается до ежедневных подробностей местного управления, то это– дело дворянских уполномоченных, которых в том и не стесняли, пока те не касались личных дел каждого избирателя. Если дела шли несогласно с требованиями «правды, человеколюбия и общего блаженства», на которых строился закон, это считалось в порядке вещей, потому что этим требованиям придавалось не столько практическое, сколько народновоспитательное значение согласно с *«Наказом»*, который гласил, что для успеха лучших законов необходимо «умы людские к тому приуготовить». Рассуждали, что прежде надобно облагородить ум и сердце людей, а потом улучшить их жизнь, сперва выучить человека плавать, а потом пускать его в воду. В умоначертании людей екатерининского времени произошел тот оборот мысли, какой наблюдаем в человеке с возбужденным воображением и с незанятым умом: деловые идеи незаметно перерождаются в досужие грезы, а когда люди грезят о счастье с мыслью о его невозможности, они мирятся с его отсутствием. Только таким оборотом мысли и можно объяснить психологию екатерининского вольтерьянца, у которого свободолюбивые мечты так мирно уживались с крепостною действительностью. Так и случилось, что возбуждение умов, подъем общественного духа не подняли заметно уровня общественного порядка.

Это раздвоенное настроение прошло самою резкою чертой, сказать прямее, самым глубоким рубцом по нравственной физиономии екатерининского общества и было последним моментом в образовании впечатления, вынесенного им из царствования Екатерины II. Начавшись восторженной политической чувствительностью, оно в своем последовательном росте поднялось до патриотического чувства национального достоинства, перешло потом в умственное возбуждение, выразившееся в наклонности к политическому размышлению, и завершилось пробуждением гражданского чувства, которое, проснувшись, так и осталось нервным движением, не успев переработаться в житейское дело. Однако и нравственные приобретения были очень важны: современники Екатерины и их ближайшие потомки были уверены, что при Екатерине показались первые искры национального самолюбия, просвещенного патриотизма, что при ней родились вкус, общественное мнение, первые понятия о чести, о личной свободе, о власти законов, что русские при ней, как бы по собственному внушению, стремились

сравняться с народами, опередившими их на много веков (Вигель).

«Да посрамит небо всех тех, кто берется управлять народами, не имея в виду истинного блага государства»,– писала Екатерина. Ее совсем не мечтательный ум ласкала мечта стать преобразовательницей своего государства и воспитательницей своего народа, сеять добро на земле, которое переживало бы сеятеля, и неделикатно было бы не верить искренности ее признания, что ей нравится «та слава, которая не только в настоящем производит добро, но и в будущем создает бесчисленные поколения добрых». Она принесла на русский престол два средства действия: ум, исполненный философско-политических идей века, располагавших ее к тому, что она называла своею *легисломанией*, и характер, способный сдерживать философские увлечения, выработанный среди житейской толкотни более общением с живыми людьми, чем уединенною работой над самим собой. Она начинала свою деятельность с убеждением в силе разума, долженствующего управлять народами, и с верой в разум народа, которым ей пришлось управлять. Она нашла под своею державною рукой страну с влиятельным внешним положением и неблагоустроенным внутренним порядком, государство с обильными материальными средствами и с расстроенными нравственными силами, не соглашенными и враждебными интересами. Читая, наблюдая и размышляя, она решила, что действующие в России законы мало соответствуют положению государства, не поднимали, а понижали его благосостояние и извели множество народа, что сам Петр I не знал, какие законы надобны его государству, и что такая своеобразная страна, как Россия, невозделанная и не искаженная историей, нуждается не в пересмотре, а в коренной перестройке законодательства на новых началах, что здесь все надобно переделывать заново. Это была мысль скорее академического, чем политического, ума. Не одна Екатерина смотрела на Россию, как на белый лист бумаги, еще не исчерченный историей, и она была не последняя, кто так смотрел на эту страну. Но такой взгляд значительно исправлялся другим соображением Екатерины, что надежнее самих законов образ действий власти, направляемый снисхождением и примирительным духом государя. Опыт и ближайшее знакомство со страной, особенно Комиссия 1767 г., показавшая Екатерине, «с кем дело имеем», убедили ее, что и у России есть свое прошлое, по крайней мере есть свои исторические привычки и предрассудки, с которыми надобно считаться. Она увидела, что без глубоких потрясений невозможно провести коренных реформ,

каких потребовала бы система законодательства на усвоенных ею началах, и на совет Дидро переделать весь государственный и общественный порядок в России по этим началам посмотрела как на мечту философа, имеющего дело с книгами, а не с живыми людьми. Тогда она сократила свою программу, сознавая, что не может взять на себя всех задач русской власти, что то, что можно, далеко не все, что нужно. «Что бы я ни делала для России,– писала она,– это будет только капля в море». Но, утешала она себя, «после меня будут следовать моим началам» и докончат недоделанное. Когда добрый попечитель убеждается в несбыточности планов сделать зависящих от него людей счастливыми, создав им лучшее положение, он старается по крайней мере сделать их более довольными их прежним положением, внушив им лучшие мысли и чувства. Видя невозможность перестроить русскую жизнь новыми законами и учреждениями, Екатерина хотела лучше настроить русскую мысль новыми идеями и стремлениями, предоставив ей самой перестраивать жизнь. Не решившись стать радикальной преобразовательницей государства, она хотела остаться воспитательницей народа. Потому, не трогая основ существующего порядка, она стала действовать на умы. Власть, оставаясь военно-полицейским стражем внешней безопасности и внутреннего благочиния, в ее руках стала еще проповедницей свободы и просвещения. Екатерина не стеснила пространства власти, но смягчила ее действие, приняв в руководство эти принципы, и тем сделала менее ощутительной ее беспредельность, ибо руководящие принципы власти казались ее пределами. Екатерина не дала народу свободы и просвещения, потому что такие вещи не даются пожалованием, а приобретаются развитием и сознанием, зарабатываются собственным трудом, а не получаются даром, как милостыня. Но она дала умам почувствовать цену этих благ.сли не как основ общественного порядка, то по крайней мере как удобств частного, личного существования. Это чувство было тем ободрительнее, чем еще не ослаблялось тогда пониманием жертв и усилий, какими приобретаются эти блага, а теснота сферы, отведенной для их действия, не замечалась, узкость башмака не чувствовалась в обаянии «бессмертной славы, какую она приобрела во всем свете», говоря словами Болотова. Эта слава была новым впечатлением для русского общества, и в ней тайна популярности Екатерины. В ее всесветной славе русское общество впервые почувствовало свою международную силу, она открыла ему его самого: Екатериною восторгались, как мы восторгаемся артистом, открывающим и вызывающим в нас самим нам дотоле неведомые

силы и ощущения; она нравилась потому, что через нее стали нравиться самим себе. С Петра, едва смея считать себя людьми и еще не считая себя настоящими европейцами, русские при Екатерине почувствовали себя не только людьми, но и чуть не первыми людьми в Европе. За это не ставили ей в счет ни ошибок ее внешней политики, ни неудобств внутреннего положения, ни поступков с Арсением Мацеевичем или Новиковым, недостойных ни ее ума, ни сана, ни приемов «маленького хозяйства», в котором, по тогдашним рассказам, платилось 500 руб. за пять огурцов для любимца и выходило угля для щипцов придворного парикмахера на 15 тыс. руб. в год. Общее настроение сглаживало эти неровности, вследствие которых империя последних лет царствования представляла по закону, по общему впечатлению стройное и величественное здание, а вблизи, в подробностях – хаос, неурядицу, картину с размашистыми и небрежными мазками, рассчитанными на дальнего зрителя.